ЗНАМЯ

Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал

Выходит с 1931 года

ОРГАН
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

Книга шестая
ИЮНЬ
1988

Содержание

Константин Ваншенкин. Из лирики. Стихи 3

Александр Великин. Санитар. Повесть 8

Александр Галич. Когда я вернусь. Стихи. Сопроводительная заметка И. Грековой 54

Борис Екимов. Рассказы 63

Владимир Шуваев. Одиннадцать стихотворений 76

Мемуары. Архивы. Свидетельства

Алексей Аджубей. Те десять лет 81

Публицистика

Отто Лацис. Перелом 124

Ю. Золотов. Из американских тетрадей. Окончание 179

Письма с фронта 198

Литературная критика. Полемика

Н. С. Работнов. «...И остросовременно, и певуче...» 210

Алла Марченко. Синдром: единогрезие 215

Москва
Издательство
«Правда»

Алексей Аджубей

ТЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ

Новый 1966 год мы с женой встречали у своих близких друзей. Окна их квартиры выходят на Фрунзенскую набережную, и перед нами открывалась панорама заснеженной реки, ледяных аллей Парка культуры имени Горького, по которым скользили фигурки конькобежцев. Гирлянды разноцветных лампочек, светящийся круг «чертова колеса»... Все это буйство красок и света обрамлял не по-городскому темный Нескучный сад. И то, и другое — свет и чернота, — как сказка о добре и зле, вполне соответствовало нашим настроениям в ожидании двенадцатого удара курантов.

По стальным пролетам Окружного моста тяжело ухали темные эшелоны. Я всегда испытываю сочувствие к работающим в праздник людям. У газетчиков тоже часты такие дежурства. В тот вечер мои коллеги в «Известиях» несли на подпись полосы другому редактору. Праздничные вечера и ночи были у меня теперь свободны.

Почти под утро появились опоздавшие гости — знаменитый актер с женой и военный в высоком чине. Женщины пересчитали звезды на его погонах и с помощью мужчин определили: генерал-полковник.

«Мы познакомились с генералом только что, но в прошлом году — на новогоднем приеме в Кремле. Прошу любить и жаловать». — Актер назвал имя и отчество военного и тем исчерпал, по всей вероятности, свои сведения о нем.

Надо отдать должное генералу, поддавшемуся на уговоры «гулять всю ночь напролет». Его, по-видимому, не очень стесняло, что он оказался в незнакомом доме. В Новый год все люди кажутся добрыми, умными и как бы приятелями. Гостю сразу понравился хозяин дома — его гренадерский рост, нутряной бас, добродушное умение вести стол, поддерживая дух и азарт притомившейся компании, подобно опытному костровому, следящему, чтобы угли не потеряли жара...

Сколько промелькнуло в жизни таких вечеров, сколько слов истрачено в многозначительных разговорах, за которыми часто не было ничего, кроме малореальных желаний, пошедших ко дну под бременем житейских обстоятельств! А мы все говорим и говорим, как те чеховские герои, и не можем остановиться, хотя понимаем, что водопад слов и Ниагара — разные вещи.

Вот и та новогодняя «ночь слов» ушла бы, наверное, из памяти, если бы не генерал. Я не уловил, в какой момент беседа его с хозяином взлетела на верхние ноты. По обрывкам фраз можно было понять, что речь идет о смещении Хрущева, о том, что и как за этим последует.

— А я говорю тебе, что это было потерянное, проклятое десятилетие нашей истории, — почти кричал генерал, — и ты забудь его поскорее, а то станешь просить прощения, а тебе не поверят!

Хозяин возражал гостю, тот сердился, начал застегивать китель, тормошил за плечо актера: «Поехали! Тоже мне веселая компания...»

Казалось, актер дремлет. Ладонями тонких рук он прикрыл глаза, но я видел, как у него напряглись и заходили скулы. Я знал его, взрывчатого и резкого, мы учились вместе в школе-студии Художественного театра, знал, что сейчас он вспыхнет и тогда может случиться всякое.

К моему удивлению, он, поднявшись, очень спокойно, вежливо, «по системе» проговорил: «А я, генерал, считаю это десятилетие великим. Мы с вами расходимся в оценках. Каждый человек имеет право на собст-

венную точку зрения, а вы почему-то не разрешаете иметь ее даже нашему хозяину...»

Каким же оно было, это почти неупоминаемое десятилетие нашей жизни — от года 1954 до 1964-го? Десять лет труда и жизни громадного государства, миллионы человеческих судеб в миллиардах различных столкновений и обстоятельств? Отчего и зачем кто-то с удивительной настойчивостью изымал его из нашей памяти, будто за этими годами стояла какая-то вина? Ведь не просто же так, не по воле одного или двух, пусть самых всемогущих, людей вырезали из книг и фильмов имена и факты, цифры и сопоставления?

Молчание вокруг имени Никиты Сергеевича Хрущева было не только полным, но, я бы сказал, злым. Наивные люди полагали, что в его основе — негативная оценка партийной и государственной деятельности Хрущева. Главное, однако, в ином. Ему «ничего не простила» та административная бюрократическая система, которую он посмел потревожить. Это она проводила своеобразную «демонстрацию силы» да и предупреждала на будущее: «Не трогайте нас!»

Никакой самый совершенный компьютер не выведет бесспорной оценки тех не очень спокойных и не очень простых лет. Нелепо и само желание окунать кисть либо в черную, либо в розовую краску, воссоздавая не только те самые десять, но и все семьдесят лет нашей истории.

Разумный час разумных размышлений приблизился настолько, что грех не ответить на естественное желание всех без исключения здравомыслящих людей вернуть народу его историю. Так и случится. Стараниями многих — историков, экономистов, статистиков, обществоведов, очевидцев и участников событий. В этом процессе самоосознания, будем надеяться, найдется место для объективного анализа «десятилетия Хрущева».

Минувшее опасно предавать забвению. Мы поняли, что «забвение» и «застой» — слова одного порядка и сломать то, что стоит за ними, можно и нужно непременно. Не обойтись здесь без кипения страстей, без потерь и боли, но и обретения тоже будут. Радость и тревога соседствуют в наших днях так же, как соседствовали они в давние уже годы после XX съезда партии. С решениями этого съезда связано многое в жизни моего поколения, и большинство друзей не изменило взглядов. Среди них Нателла Георгиевна Лордкипанидзе и Виктор Васильевич Сажин. Знаю, что верен дням молодости Олег Николаевич Ефремов, тот самый актер, который «прихватил» с собой к Нателле и Виктору «свадебного» генерала с кремлевского приема.

Друзья наши по-прежнему живут на Фрунзенской набережной. Выросла их дочь Наташа, вышла замуж, стали взрослыми и три наших сына. В тот новогодний вечер они мирно спали, не ведая о споре, который вели старшие. Они часто спрашивают, как и что происходило в стране давным-давно и недавно. И нам надо рассказать им об этом.

Возвращаясь памятью к пережитому, я не корю себя за то, что не вел подробных записей и дневников. Перед читателем не мемуары с пикантными закулисными подробностями. Это записки журналиста, чья работа сначала в «Комсомольской правде», а затем в «Известиях» пришлась на годы, о которых долго не было принято писать.

Мои «дневники» — память и подшивки газет и журналов. В них круг моих взглядов и интересов. Наивно было бы утверждать, что мне удастся избежать субъективных оценок, во всяком случае, буду стараться исходить из фактов.

«Факт должен въедаться в плоть газетчика, подобно шахтерской пыли, — учил молодых журналистов «Комсомолки» Борис Николаевич Полевой. — Во время первых выборов в Верховный Совет СССР, — рассказывал он, — мне дали задание написать о ленинградском рабочем, кандидате в депутаты. Поехал в Питер, долго и обстоятельно говорил с человеком. Гонял чаи в его доме, познакомился с семьей, а когда очерк напечатала «Комсомольская правда», отправил экземпляр с дарственной надписью. И получил такой ответ: «Вы все верно описали, товарищ журналист, но только зачем же поставили меня перед зеркалом причесываться. Разве вы не заметили, что я лысый?» Братцы мои, — патетически восклицал Борис Николаевич, — не превращайте расческу в шанцевый инструмент нашей профессии!»

Я считаю важным соблюсти еще одно правило. Нельзя судить прошлое мерками наших нынешних представлений, забывая, что события происходили там и тогда, а не здесь и теперь, и что нет ничего бесплоднее мечтательных вздыханий: «Ах, если бы...» Когда многие из нас почувствовали, что взрывная сила XX съезда идет на убыль и что топтание на месте вот-вот приведет к шагам назад, можно было догадаться о причинах. Просматривалась целая цепь зависимостей. Винить ли нам себя, то есть тех, кто горой стоял за дело XX съезда, или сказать честно, что не хватило сил отстоять свои взгляды? Отнести ли кое-что за счет проклятой привычки к конформизму, жизненным удобствам? А может быть, списать все на «волюнтаризм и субъективизм» Первого секретаря ЦК Н. С. Хрущева? Это самый простой вариант, удобный в том смысле, что каждый волен многозначительно пожимать плечами.

Убережемся от этих приемов. Теперь, когда гласность резко увеличила не только значимость, ответственность, но и поток слов, увы, легки и скоры на провозглашение истин чаще всего те, кому ни в какие времена не пришлось нести существенных потерь.

Моим сыновьям я говорю: да, мы виноваты. Мы виноваты, ибо были разобщены и в силу интеллигентских самоограничений не действовали так, как иезуитски сколоченная прослойка бюрократии. Я часто напоминаю им изречение: «Не кори тех, кто не успел или не смог сделать чего-то, не мешай тому, кто заканчивает работу, а, главное, успей сделать то, что надлежит сделать тебе самому».

Весной 1987 года, в день, когда отмечалось семидесятилетие «Известий», я был приглашен на торжественное заседание, да еще в президиум. Перерыв в двадцать лет сделал для меня это событие праздником. В тот вечер я вновь увидел своих товарищей по работе. В многотиражной газете «Известинец» были помещены короткие заметки бывших сотрудников газеты, в том числе и моя. Вот что я писал:

«То, с чем читатели газеты познакомятся завтра, газетчики знают уже сегодня. Их жизнь состоит из постоянных упреждений, и поэтому тратится куда быстрее, чем хотелось бы. В этот праздничный для «Известий» срок я думаю о тех, кого нет с нами и кто вполне заслуживает того, чтобы оставаться в нашей памяти по совести и по делу. Я взялся было перечислять имена, но осекся: список был бы тяжел и длинен.

Я не работал в газете вместе с Александром Бовиным, но вполне разделяю его мысли: либо ОНИ, либо МЫ, и третьего не дано, а тем, кто думает отсидеться в запасном батальоне, не испытать счастья профессионального журналиста. Говорю об этом потому, что та «первая попытка», на которую почти тридцать лет назад вышли «известинцы», не была вовсе бесплодной. Быть может, что-то и отодвинуло нас с занятых позиций, но мы поняли, что может газета и какова сила нашей профессии, если стоять на позициях партийной принципиальности, демократизма, гласности и если мы не путаем такие понятия, как служба и служение.

Как не позавидовать тем, кто делает «Известия» сегодня! Есть опыт атак, и есть время, которое не простит вялости и промедления!»

В политике, общественной жизни движение вспять начинается иногда с малого, незаметного. Позже, когда ничего нельзя изменить, понимаешь, что это долгий отлив, и по срокам, отпущенным богами, на него может не хватить и целой человеческой жизни. Примеры — в нашей собственной истории. Двадцатый съезд вернул честь и достоинство тысячам невинных жертв сталинского произвола, но им, павшим, было уже все равно. Как все равно, поставим ли мы обещанный памятник. Он ведь тоже нужен нам, во исполнение нашей воли, утверждения идеалов. Памятники опасно ставить «вопреки», они легко слетают с пьедесталов.

В тот юбилейный известинский вечер один знакомый литератор сказал: «Нам еще повезло. Мы начали после Двадцатого и, надеюсь, успеем что-то сделать после Двадцать седьмого».

Мы оба знали, что все будет непросто. Есть ведь и такие, кто досадует: жаль, не успело уйти «хрущевское поколение». Они всё мечтают о «сильной руке», о «сильной власти», в ней видят панацею от всех бед. Ну что ж, и это не ново. Троцкисты тоже утверждали, что нет ничего ре-

акционнее демократии. И «свадебный» генерал, быть может, по недомыслию, говорил нечто подобное.

Выступил в юбилейной известинской многотиражке и Мэлор Стуруа. В 1959 году он был среди активных, как говорят, фонтанирующих идеями журналистов. Мы вместе, главный редактор и литературный сотрудник, не чинясь, бегали в типографию к талеру менять опостылевшие штампованные заголовки. Ловили любую возможность вырваться из плена серости, скуки, однообразия, разбудить интерес читателей.

Однажды Мэлор по срочному поручению редакции купил в Елисеевском магазине четыре килограмма черной икры, ночью отвез в Шереметьево, уговорил английских летчиков компании «Бритиш Эрвейс» доставить посылку в Лондон. Именно такой гонорар назначил Чарли Чаплин, когда я по телефону попросил его отдать нам для первой публикации главы из его «Автобиографии». Книга вот-вот должна была появиться в продаже, через неделю отрывки собиралась печатать «Санди таймс».

Он пояснил, что дает большой прием в связи с выходом книги, икра будет очень кстати.

«С ума сойти, — сказал Чаплин нашему собственному корреспонденту в Англии Владимиру Осипову, когда тот привез в отель огромный сверток — кастрюлю из известинской столовой, набитую льдом, который выпросили у мороженщиц, с четырьмя килограммами икры. — Эти парни поставили меня в тупик», — и отдал рукопись.

Чарли Чаплин умел держать слово.

Наш корреспондент, получив рукопись, сел за телефон и с ходу перевел, продиктовал стенографистке отличный отрывок из книги на целую газетную полосу. В тот же день мы опубликовали его. Радовались читатели необычному материалу, во врезке было рассказано и о том, как он получен, радовались и мы. «Воткнули перо» западным газетам и в особенности «Санди таймс». Дело в том, что в «Известиях» незадолго до этого побывал главный редактор этой газеты и не без апломба пытался учить нас оперативности и находчивости.

У сановитого редактора, когда он увидел «Известия» с отрывком из книги Чаплина, хватило характера позвонить нам в редакцию и попросить разрешения прислать своего сотрудника на стажировку в Москву.

Кстати, радовался и наш бухгалтер. Эта публикация не стоила ни одной валютной копейки. Икра тогда, в 1960 году, шла по 22 рубля за килограмм. У нас. Мы не уточняли, сколько она стоила в Англии. Наверное, дороже.

Это небольшое отступление понадобилось для того, чтобы стало понятнее, отчего я позволю себе процитировать то, что писал Мэлор Георгиевич в «Известинце».

«Вспоминается одно редакционное бдение. Было это в начале шестидесятых годов. Главный редактор на планерке поделился своим беспокойством.

— После XX съезда газета сделала шаг вперед, — сказал он. — Но вот идет время, и мы все чаще пробуксовываем, топчемся на месте. Давайте соберемся завтра после выхода номера и обсудим этот второй шаг. Приглашаются все. Время ограничивать не будем. Если понадобится, прозаседаем до утра. Соня будет поддерживать нас бутербродами и чаем.

Мы начали судить и рядить о том, как сделать второй шаг. Стенографистки не поспевали записывать за нами новые идеи, рубрики, разработки и тому подобное. Время шло. День сменил вечер, вечер — ночь. За окнами забрезжил рассвет. И вдруг нас охватила тайная тоска: мы ощутили, что все наши, казалось бы, эвристические предложения ничего общего со вторым шагом не имеют, что по сути дела они сводятся к косметическому бегу на месте. Тоска стала превращаться в пытку. Я не выдержал и взял слово.

— Алексей Иванович, — сказал я, — наше бдение бессмысленно. Газета не может сделать второй шаг, пока и если его не сделает партия.

Воцарилась гробовая тишина. Взоры всех обратились к главному редактору. Все ждали, что шаровая молния взорвется и поразит дракона-святотатца. Но ничего похожего на галактические протуберанцы не произошло.

— Давайте расходиться, Мэлор Георгиевич прав,— сказал Аджубей тихим и усталым голосом...»

В октябрьские дни 1964 года, когда жизнь нашей семьи круто переменилась, мы условились с женой не отыскивать в бесплодных разговорах правых и виноватых, не записывать в памяти обид и нелепиц. Хорошо помню, что уже в один из первых дней после того, как ее отца сместили, Рада сказала: «Ты знаешь, это, конечно, горько и незаслуженно, но, может быть, и к лучшему».

Это «к лучшему» вбирало в себя надежду на то, что жизнь — в широком, общественном смысле слова — вновь обретет исчезавший динамизм и последовательность. Не только мы, многие надеялись, что пришел срок «второго шага».

Теперь, когда позади почти четверть века, возвращение к пережитому естественно по многим причинам. Плохо, когда незнание выносит скорый суд. Вот почему я решил рассказать о том, что знал сам, знали близкие мне люди. Те самые десять лет имели, конечно, свою предысторию.

Заканчивался 1949 год. Месяца через два студенты 3-го курса отделения журналистики МГУ, перевалив очередную сессию, должны были начать практику в газетах. Я и Рада готовились к экзаменам в московской квартире ее отца, Никиты Сергеевича Хрущева. Он тогда работал на Украине.

Дом на улице Грановского, известный московским старожилам как V-й дом Советов, а прежде — графов Шереметевых, построили по проекту архитектора Александра Мейснера во вкусе буржуа конца девятнадцатого века. Аляповатое П-образное здание с небольшим въездным скверик вполне соответствовало своему назначению: до революции здесь снимала квартиры богатая публика.

В 20—30-х годах дом заселили члены правительства, крупные военные и партийные деятели. В 1938 году получил здесь квартиру и Н. С. Хрущев — переехал из «Дома на набережной». В тот год Никиту Сергеевича избрали кандидатом в члены Политбюро и направили на Украину Первым секретарем ЦК. Приезжая в Москву в командировки — из Киева ли, с фронта во время войны, — он жил здесь. Полупустая, обставленная в аскетическом стиле тех лет квартира — без ковров, горок, хрустальных люстр, без картин и гравюр. Настольные лампы на гранитных пьедесталах с колпаками из матового стекла и оторочкой «под бронзу» напоминали по форме большие грибы.

Тяжелая, скучная мебель — кровати, столы, стулья и диваны в полотняных чехлах, книжные шкафы, тумбочки; по-видимому, так же было и в других квартирах этого дома, поскольку на то существовал неписаный стандарт. Тогда еще высокопоставленные лица не занимались «интерьером», да и само это понятие не вошло в быт.

Позже я понял происхождение вкусов того времени. В такой «казенной» строгости жил Сталин. На юге, в Москве, в Подмосковье, на квартире и дачах все у него было точно таким же. Дерево на полу, потолке, стенах. Минимум мебели, никаких картин. Мебель изготавливалась на одной фабрике и по одному шаблону.

Хозяева квартир, во всяком случае, так было у Хрущевых, не считали себя собственниками домашней утвари в общепринятом смысле. Там, где они жили, им практически ничего не принадлежало. На простынях и полотенцах стояли синие клейма: «V-й дом Советов» либо другие учрежденческие знаки. К столам, стульям, диванам были привинчены металлические инвентарные жетоны. Время от времени в квартире появлялись строгие мужчины, чтобы сверить инвентарные номера с записями в тетрадях, как будто кто-нибудь из жильцов мог покуситься на это добро.

В квартире Хрущева было особенно гулко и пусто. Большая семья Хрущева постоянно жила в Киеве. Никита Сергеевич приезжал в Москву нечасто и вовсе не обращал внимания на мебель и обстановку.

В тот поздний вечер, когда мы с женой дочитывали конспекты, в прихожей раздались голоса, кто-то прошел в комнаты. Оказалось, приехал Никита Сергеевич и с ним Ванда Львовна Василевская и Александр Евдо-

кимович Корнейчук. Рада пошла на кухню помочь домашней работнице, и вскоре все сидели за столом. Перебивать разговоры старших не полагалось, и лишь по ходу беседы мы узнали, что Никита Сергеевич только что был у Сталина. Возвращаясь домой, прихватил из гостиницы приехавших по своим делам в Москву Василевскую и Корнейчука.

В тот вечер Хрущеву, видимо, были просто необходимы собеседники. Он сказал, что едет в Киев сдавать дела, так как его избирают секретарем Московского обкома партии, — вопрос решен.

Ванда Львовна заплакала: «На Украине вас будет очень не хватать, Никита Сергеевич». Слова эти тронули Хрущева. Он знал, что Ванда Львовна говорит искренне. Польская и советская писательница, настоящая интернационалистка, в годы войны она активно печаталась в газетах, журналах, встречалась с Хрущевым на фронте. Повесть Василевской «Радуга», вышедшая в 1942 году, была отмечена Сталинской премией, ее называли сражающейся книгой.

И Василевская, и Корнейчук дорожили дружеским расположением Хрущева. Александр Евдокимович — известный драматург, автор «Гибели эскадры», «Платона Кречета», «Фронта», вел активную общественную деятельность. Был момент, когда Никита Сергеевич решительно защитил Корнейчука, автора либретто к опере Данькевича «Богдан Хмельницкий». Этой оперой открывалась летом 1951 года Декада украинской литературы и искусства. «Правда» напечатала статью, в которой критиковались «националистические» просчеты в литературно-исторической части спектакля. Обвинение было серьезным. Позже Хрущев рассказывал, что ему с большим трудом удалось погасить гнев Сталина. Автору разрешили самому внести необходимые поправки. Опера «Богдан Хмельницкий» не продолжила список тех раскритикованных произведений литературы и музыки, по которым уже были приняты соответствующие грозные постановления ЦК.

Ванда Львовна Василевская умерла в июле 1964 года и не узнала о смещении Хрущева. Неизвестно, что думал по этому поводу Александр Корнейчук. Во всяком случае, когда Никита Сергеевич скончался, Нина Петровна не получила от Корнейчука даже коротких слов соболезнования.

Знакомая тема. Как писал Илья Эренбург, «телефон вдруг замолчал...». Только ли забывчивостью или невоспитанностью объясняются мгновенные перемены? И забывчивость, и невоспитанность — это уже производные, а истоки глубже, они в отчуждении человека от самого себя и в том страхе, который обороняет от опрометчивости. Ел, пил с человеком, охотился, рыбачил, наезжал в гости, спрашивал совета, прибегал к помощи, а приходит час, будто и не был знаком. Мелкая дрожь пробирает до костей: как бы кто не вспомнил, что и ты, брат, ходил в друзьях, записывал себя в соратники, как бы кто не вспомнил и не упрекнул, не понизил в должности, не лишил бы чего...

Не все такие, но таких много.

Медленно, незаметно начинается отлив, и вот уже там, где плескалась вода, сухая земля...

Что стояло за неожиданным решением Сталина вернуть Хрущева в Москву? Теперь никто этого не узнает. Как никто не узнает, о чем говорили между собой эти два человека.

Однако эта «кадровая рокировка», если и выглядела импровизацией, совершилась с учетом следующих ходов. Казалось, Сталину было бы целесообразнее держать Хрущева на Украине, дела там набирали темп, республика давала стране все больше хлеба, восстанавливался Донбасс, росли энергетические мощности, отстраивались разрушенные города. Хрущев пользовался на Украине авторитетом. Сталин знал это и все-таки срочно вызвал его в Москву. Здесь уже сняли Первого секретаря МК и МГК, Председателя Моссовета Г. М. Попова. Говорили, что Сталина беспокоило властолюбие Попова, как будто тот сам определил себе все три должности. Теперь я думаю, что Хрущев понимал сложившуюся ситуацию. Не могло не беспокоить его нарастание напряженности в связи с «ленинградским делом». Секретарь ЦК Маленков и министр госбезопасности Абакумов по поручению Сталина активно громили ленинградские кадры.

Теперь известно, как и по чьей воле возникло это «дело». В 18-м и 19-м номерах ленинградского журнала «Диалог» за 1987 год и в «Комсо-

мольской правде» в январе 1988 года напечатаны документальные данные на этот счет. Аноним сообщил в ЦК о неблаговидном поступке председателя счетной комиссии ленинградской областной и городской партийной конференции, проходившей в декабре 1948 года: были скрыты точные итоги голосования. Коммунистам объявили, что руководители парторганизаций города и области избраны единогласно, а на самом деле это было не так. Против первого секретаря обкома П. С. Попкова — 4 голоса, Г. Ф. Бадаева — 2, Я. Ф. Капустина — 15, председателя Ленгорсовета П. Г. Лазутина — 2.

Что и говорить, обман подобного рода — тяжкий партийный проступок. но бурная реакция Сталина, как станет ясно позже, шла от иного. Сталин никогда не любил этот город. Не здесь, не в этом городе отстоял он право считать себя вождем партии, не здесь встречал подобострастное поклонение. Он помнил о зиновьевской оппозиции, об убийстве Кирова... И вот повод нашелся. Маленков и Абакумов сделали беспроигрышный ход. Они предугадывали желания Сталина, эти желания совпадали с их собственными целями.

Избранный секретарем ЦК партии А. А. Кузнецов, ленинградец, герой блокадных дней, слишком быстро набирал силу и мог потеснить Берия и Маленкова, зорко следивших за каждым потенциальным соперником. Председатель Госплана Н. А. Вознесенский, Председатель Совета Министров РСФСР М. И. Родионов — тоже ленинградцы. Не слишком ли много ленинградцев в Москве?

Репрессии начались в 1949 году, а уже в сентябре 1950-го выездная сессия Военной коллегии Верховного суда СССР, рассмотрев дело А. А. Кузнецова, Н. А. Вознесенского, М. И. Родионова, П. С. Попкова, Я. Ф. Капустина, П. Г. Лазутина по обвинению в измене Родине, контрреволюционном вредительстве, участии в антисоветской группе, приговорила их к высшей мере наказания. В то время в СССР смертная казнь была отменена, но, пока велось следствие, ее ввели снова.

На суде, прощаясь с живыми, А. А. Кузнецов сказал: «Я был большевиком и останусь им, какой бы приговор мне ни вынесли, история нас оправдает». Как часто в наши дни возникают из небытия такие трагические, исполненные веры слова. И как можно простить тех, кто во имя своих карьерных целей угодливо готовил для мнительного и мстительного вождя списки «заговорщиков». История не только оправдывает, но и обвиняет.

Я часто видел Г. М. Маленкова. Разве мог подумать тогда, что этот мягкий, обходительный человек, любящий семьянин и отец, способен к жуткой, безжалостной интриге, которая унесет жизни многих ленинградцев — партийных и советских работников, что в ссылку будут отправлены их жены и дети, — им судьба тоже уготовит участь врагов народа по родственным признакам. А Абакумов? Получив указание или даже намек на чье-то мнение, он готов был на любую грязную работу. А вот в смертный час, когда по справедливости его приговорили к высшей мере наказания, он попросил хотя бы на минуту показать своего новорожденного ребенка...

В тот вечер, когда Хрущев угощал чаем Василевскую и Корнейчука, заметно было, что он нервничал: уговаривал гостей не торопиться. Наверное, не хотел оставаться без собеседников. Дело для него состояло не только в том, как сложатся отношения со Сталиным, — тут Хрущев, по-видимому, рассчитывал на поддержку. Но ведь он уехал из Москвы в 1938 году, бывал здесь только наездами и вот теперь врывался в плотно сцепленную обойму соратников вождя. Каждый из них внимательно и ревниво следил за другими, даже за тем, как и сколько раз обращался к кому-либо из них Сталин, кого звал или не звал на вечерние обеды-заседания, приглашал на отдых, как и над кем подшучивал в благостном расположении духа.

Все было расписано очень точно. Даже где, когда отдыхать семьям руководителей. Обычно звонил генерал Власик, начальник охраны Сталина, назначал место отдыха. Так распорядился Сталин. Летом 1950 года Нина Петровна сказала: «Едем в Ливадию». Огромный царский дворец считался тогда сталинской дачей. В одном крыле отдыхала семья Хрущева, в другом Светлана Сталина и ее второй муж Юрий Жданов. Никакого

общения между нами не было. Семейные знакомства не поощрялись. Мало ли что могло случиться завтра.

Для всех, так долго знавших своего хозяина и так привыкших к абсолютному повиновению, он во все большей степени становился загадкой. Непредсказуемость его действий, решений, умозаключений не находила иногда никаких объяснений. Хрущев как-то рассказал о таком эпизоде. Во время одного из застольных заседаний Сталин встал: «Пойду попрошу у Мао Цзэдуна 20 миллионов долларов взаймы», — и вышел. В ту пору между Москвой и Пекином существовала прямая правительственная связь, и можно себе представить, как десятки людей по линии спешили соединить две братские столицы, как напряглись переводчики, получившие указание переводить слова Сталина и ответы Мао Цзэдуна.

Все в молчании ждали. Сталин вернулся. Медленно отодвинул стул. Не любил, чтобы ему помогали. Сел. Сказал: «Деньги дает, но брать не будем!»

...Хрущеву было что принять в расчет на московской земле. Он только казался простоватым человеком. Случалось, наигрывал простодушие. Но я часто видел, какими холодными, отчужденными становятся в гневе его маленькие карие глаза.

Он знал правила игры, жестокие варианты ее развития. Сталин держал всех в напряжении. И Хрущева тоже. В начале 1947 года вождь сместил его с поста Первого секретаря Компартии Украины, но из Киева не убрал, назначил Председателем Совета Министров республики. «Первым» был прислан Л. М. Каганович. Перемещение последовало вслед за тем, как Хрущев доложил Сталину, что на Украине тяжелейший голод, есть случаи людоедства, вымирают целые села, республике крайне важно получить немедленную помощь. «Положил телефонную трубку, — вспоминал Никита Сергеевич, — думаю, все. Сталин ничего мне не сказал, я только слышал его тяжелое дыхание».

Украина получила некоторое количество зерна. Новый звонок Сталина — и новая накачка. Сталину стало известно, что Евгений Оскарович Патон, знаменитый ученый, инженер, демонстративно покинул одно из многочисленных совещаний, которые для «наведения порядка» проводил Каганович, да еще хлопнул дверью.

«Ваши националисты никак не успокоятся», — сердито проговорил Сталин и повесил трубку.

Никита Сергеевич вызвал Евгения Оскаровича, попросил рассказать подробности. Совещание касалось сельских проблем, и, послушав с полчаса выступавших, Патон понял, что их заботы не имеют к нему никакого отношения. «Вы же знаете, Никита Сергеевич, я не терплю пустой траты времени, а что касается хлопанья дверью, так это потому, что я глуховат».

Хрущев доложил Сталину, как было дело. Сталин выслушал, ни о чем не переспрашивая. Верховный Главнокомандующий хорошо знал Патона. По его рекомендации Евгений Оскарович в 1944 году был принят в партию. Он называл Патона великим сварщиком. И было за что. Патон наладил серийное производство танков Т-34. Никто в мире не умел тогда сваривать стальную броню.

В конце 1947 года Кагановича отозвали в Москву, и Хрущев занял прежний пост Первого секретаря ЦК Компартии Украины.

И вот теперь, в декабре 1949 года, он снова в Москве.

Через несколько дней в газетах было объявлено, что Н. С. Хрущев избран секретарем ЦК и первым секретарем МК партии. Он должен был осуществлять общее руководство делами области и города. Текущими делами горкома занимался секретарь МГК Иван Иванович Румянцев, авиационный инженер. Иван Иванович был в ту пору молодым человеком, обаятельным, энергичным, и чувствовалось, что с Никитой Сергеевичем у него хорошие отношения. Городские и областные проблемы решались совместно. Никита Сергеевич по воскресеньям со своей дачи в Огареве часто уезжал в дом отдыха МК и там прогуливался с товарищами.

Вдруг И. И. Румянцев исчез, причем мгновенно. Могу только утверждать, что его исчезновение не связано было с отношением к нему Хрущева, а решалось где-то выше. Всякое случалось тогда при таких внезапных акциях. Ивану Ивановичу, видимо, повезло. Через какое-то время он вер-

нулся директором на авиационный завод, где работал до начала партийной карьеры. Повторения «ленинградского дела» в Москве не произошло.

В тот год, о котором я сейчас пишу, наступала середина двадцатого века. 1950-й был общим днем рождения нескольких поколений. Это ощущение рубежа возникает у меня еще и потому, что 21 декабря 1949 года я практически единственный раз видел Сталина достаточно близко, не из студенческой колонны на демонстрации, а в Большом театре, где шло торжественное заседание, посвященное его семидесятилетию.

Сталин сидел в центре длинного, во всю сцену, стола. Рядом — Мао Цзэдун. Хрущев как секретарь МК и распорядитель вечера — слева от юбиляра. Казалось, Сталин совсем не реагирует на потоки приветственных слов, которые лились с трибуны.

Юбилейный вечер шел много часов. На стол президиума ложились все новые букеты, казавшиеся особенно яркими и нарядными в этот зимний месяц. Наступил момент, когда фигура Сталина скрылась за холмом из цветов, я спросил жену: «Почему Никита Сергеевич не отодвинет цветы?» «Но он же его не просит», — ответила Рада. Может быть, Сталина устраивала такая необычная ширма, отделявшая его от зала?

Наконец речи кончились. Все встали, и овация, но без выкриков и скандирований, как и полагалось при таком составе публики, долго гремела в зале. Встал и Сталин. Невысокий щуплый человек повернулся спиной к залу, чтобы уйти, — и тут меня поразил большой круг лысины. Знаменитый посеребренный бобрик, который с такой тщательностью выписывали художники и «прорабатывали» на фотографиях ретушеры, оказался редким венчиком. Я ничего не сказал Раде, наверное, от испуга, что мне стало известно нечто сверхсекретное. Сталин медленно уходил со сцены, не останавливаясь и не разговаривая с почтительно расступившимися людьми, прижав к боку согнутую в локте правую руку. Говорили, что она у него подсыхала, укорачивалась, и он инстинктивно сгибал ее, чтобы на это не особенно обращали внимание.

Странная жалость пронзила меня тогда, разрушив стереотип вождя. Он на миг представился обыкновенным человеком, как все. Да и много ли нам известно о нем как о человеке сегодня? Долго мы довольствовались самым минимумом. Ну, например, тем, что он любил набивать трубку табаком из папирос «Герцеговина флор»...

Дочь Сталина Светлана Иосифовна написала в книге «Двадцать писем к другу» об отце с достаточной степенью откровенности и по-своему сказала о нем правду. Но всю ли? У этой книги странная и путаная судьба, как путана она и у самой Светланы. Не берусь ни винить, ни оправдывать эту женщину, ей, по-видимому, тяжело и перед собственным судом. Каким оказался бы гнев Сталина, если б он смог предположить судьбу дочери! Жена покончила жизнь самоубийством, сын загубил себя пьянством, дочь покинула Родину. Страшно.

Все это я вспоминаю теперь, и пережитое, естественно, видится с иных жизненных рубежей. Как и наши товарищи по университету, мы мало знали и мало интересовались в ту пору, как и что происходит там, «наверху». Круг интересов очерчивался строго, болтовня и сплетни, которыми так грешат в наши дни, считались недопустимыми да и были опасным занятием. Комсомольские организации действовали по строго заведенному порядку, исполняли поступавшие к ним директивы, ограничиваясь главной заботой — учением, устройством быта студентов и тем минимумом развлекательных мероприятий, которые сосредоточивались в клубе МГУ на улице Герцена.

Студенты отделения журналистики (тогда существовало только отделение — на филологическом факультете, и наш набор — 30 человек, в большинстве прошедшие фронт, — был первым) проявили инициативу и устраивали иногда собственные небольшие вечера на Стромынке, в тесных комнатухах студенческого общежития, где жили наши иногородние товарищи. Танцевали под патефон, пели и, конечно, читали друг другу стихи собственного сочинения. Вряд ли какая-нибудь другая человеческая обитель, кроме Московского университета того времени, собирала под свой

кров такое количество поэтов. Писали стихи филологи и физики, юристы и историки. Конечно, в общежитии теснота, скученность, бытовая неустроенность, шум и гам, всепроникающие запахи кухни, и все же молодое товарищество Стромынки навсегда в нашей памяти...

Смещение секретаря МК и Председателя Моссовета Попова нас особенно не тронуло. Правда, вслед за этим в комсомольских организациях начали «прорабатывать» порочные методы руководства тогдашнего секретаря МГК комсомола Красавченко, но в чем его обвиняли, я уже не помню.

Надо сказать, однако, что молодежь отнюдь не была безразлична к общественной жизни страны и народа. Рассказывали, что смещение секретаря МК комсомола Николая Сизова проходило не так гладко. Комсомольская конференция не отдавала его, не желала переизбирать и требовала более убедительных доводов. Пришлось Никите Сергеевичу Хрущеву ехать на конференцию и по-отечески внушать заупрямившимся активистам, что раз партия говорит «надо» — значит, надо.

Уже после смерти Сталина, когда встал вопрос о выдвижении молодых партийных кадров на высокие посты в органы внутренних дел и государственной безопасности, Хрущев одобрительно отнесся к предложению назначить Сизова начальником московской милиции; затем он стал заместителем Председателя Моссовета. Развеивалась легенда о личной неприязни Никиты Сергеевича к Сизову по прежним комсомольским делам. Легенды о разного рода приязнях и неприязнях, мнениях и соображениях Хрущева чаще всего оказывались напраслиной и подбрасывались для обсуждения тем кругом лиц, который умело использует политические сплетни в собственных эгоистических целях.

В повести «Зубр» Даниил Гранин рассказывает, как таким же образом — со ссылкой на «мнение» Хрущева — Петру Леонидовичу Капице запретили пригласить на семинар в его институт Тимофеева-Ресовского, одного из крупнейших ученых-биологов, человека сложной судьбы. Нажим на П. Л. Капицу был таким сильным, что иной на его месте сдался бы. «Консультанты» не знали характера Капицы и меры его человеческой и гражданской независимости и достоинства. Он позвонил Хрущеву и стал доказывать ему целесообразность выступления на семинаре Тимофеева-Ресовского.

Хрущев ответил, что это право Петра Леонидовича — приглашать в институт кого он считает нужным и проводить семинары с любым докладчиком. Стало ясно, что Никита Сергеевич и слыхом не слыхал о Тимофееве-Ресовском, о его предполагавшемся выступлении у Капицы, и тем более не запрещал его. Факт, приведенный Граниным в повести, документален. Когда в конце 60-х годов в доме у академика Олега Георгиевича Газенко мы с женой познакомились с Тимофеевым-Ресовским, он сам рассказал об этом анекдотическом эпизоде.

Как бы в подтверждение того, что наука живет своей собственной жизнью и над ней не властны никакие, даже самые высокопоставленные лица, Тимофеев-Ресовский вспомнил и свои молодые годы. Дело было в Дании. У Нильса Бора, где он тогда работал, было обыкновение устраивать раз в неделю несколько церемонный файф о'клок с точно выдержанным ритуалом. Никто не имел права опаздывать, а до первой чашки чая не велось никаких разговоров. Тимофеева-Ресовского предупредили на этот счет, и уже без пяти пять он сидел на отведенном ему месте. Оно оказалось за столом Нильса Бора. Минуты через три после того, как в абсолютной тишине началось чаепитие, дверь со скрипом отворилась, и маленький человек в тяжелых прогулочных ботинках, смущенно пригнув голову, прошмыгнул к свободному месту. Нильс Бор с гневом оглядел опоздавшего и демонстративно отвернулся. «Кто это?» — спросил Тимофеев-Ресовский хозяина. «Это король, — раздраженно ответил Бор, — вечно он опаздывает, я предупрежу его в последний раз и больше не стану приглашать».

В начале 1950 года в Москву переехала с семьей Нина Петровна. Дом на улице Грановского ожил. Младшая сестра жены, Лена, ее брат Сергей, Юля — дочь старшего сына Никиты Сергеевича, Леонида, погибшего под Смоленском в авиационном бою, — все школьники и все требова-

ли внимания. Нина Петровна вела дом не без некоторой назидательности. Ровная со всеми домочадцами, она создавала строгую атмосферу, которая подкреплялась и сдержанностью самого хозяина. Никакого сюсюканья. Младшие видели отца практически только по воскресеньям, да и то он предпочитал проводить свободный день где-нибудь в колхозе, на стройке или у своих новых московских знакомых: профессора Лорха — выведенные им сорта картофеля были лучшими в стране, селекционера сирени Колесникова, садовода-мичуринца Лесничего. Люди сельского труда, волшебники земли вызывали у Никиты Сергеевича чувство приподнятого умиления. Он вообще ценил яркие способности, таланты. Поддерживал их, увлекался. От этого и его вера в чудо. Яблоки Лесничего, сирень Колесникова, торфокомпосты Лысенко, мульчирование почв, предложенное учеными Тимирязевской академии, гидропоника, торфо-перегнойные горшочки, квадратно-гнездовой способ посадки картофеля, позже — кукуруза, убежденность в спасительной силе идей Прянишникова о поддержании плодородия земли неорганическими удобрениями и многое, многое другое постоянно завораживало его. Если учесть его деятельную натуру, необычайный напор, с которым он брался за дело, то естественно, что не все и не всегда оказывалось приемлемым, доступным, не всегда вело к той пользе, на которую он рассчитывал, но берусь утверждать: единственной его целью было улучшить жизнь.

Начав по второму разу работать в Москве, он, конечно, вынужден был вести себя «осмотрительнее», чем на Украине, где контроль был не столь пристальным. Он был жизнерадостным человеком. Смешно рассказывал иногда о своих поездках по украинским колхозам. Вспоминал такой случай. Как-то в первый послевоенный год заехал он к одному своему знакомому председателю колхоза (Хрущев хорошо, не шапочно, знал сельских тружеников, с ними ему было легко и просто). К вечеру, когда осмотрели хозяйство, председатель пригласил на ужин и, уже сильно захмелев, стал выпрашивать ящик гвоздей. «Товарищ Хрущев, — все настойчивее говорил он, — достаньте ящик гвоздей, ведь наш колхоз носит ваше имя. — Поняв, что дело швах, хватил еще рюмку и выложил самый сильный, с его точки зрения, аргумент: — Товарищ Хрущев, достаньте, я вас прошу. Учтите, вы носите имя нашего колхоза!»

Какое-то время Рада и я жили у ее родителей «на Грановского». Для меня все здесь было непривычно, особенно пуританизм тещи. Я воспитывался совсем в иной семье. Моя мать, Нина Матвеевна Гупало, считалась одной из лучших московских закройщиц-модельеров, одеваться у нее мечтали многие женщины, главным образом актрисы, жены крупных писателей. В иных случаях деловые отношения переходили в дружеские — с Еленой Сергеевной Булгаковой, Мариной Алексеевной Ладыниной и некоторыми другими. Знала мою мать и Светлана Сталина. Видимо, ее отцу нравилось, как одевается дочь. Однажды он увидел на ней платье не по возрасту и сказал: «Что это ты так обтянулась? Носи то, что шьет Гупало, а это сними». Не знаю, откуда Сталину было известно, кто одевает его дочь, но так писала сама Светлана.

Теперь, когда нет в живых ни Нины Матвеевны, ни Нины Петровны, я по-иному определяю их место в своей жизни, в жизни моих детей. Моя мать редко бывала в доме Хрущевых. У нее на этот счет существовали свои принципы. Она воспитывалась в монастырском приюте, там, у монахинь, стала первоклассной белошвейкой и, быть может, там сложился ее характер — строгий и независимый. Моя мать и теща, такие разные по взглядам, привычкам, вкусам, были в чем-то схожи и никого ни о чем не любили просить.

Когда Нина Петровна скончалась и мы хоронили ее рядом с Никитой Сергеевичем на Новодевичьем кладбище, у могилы я сказал несколько прощальных слов этой мудрой женщине. Как и моя мать, Нина Петровна ничего не рассказывала детям о себе, и только потом, уже после похорон, от старых друзей мы узнали о ее юности, работе в подполье, в Красной Армии. Я говорил тогда у могилы, что мне бы хотелось, чтобы дети наши больше были похожи на деда и бабок, чем на родителей.

Жизнь им досталась тяжелее нашей, куда меньше в ней было земных радостей, без которых теперь вроде бы и жизнь не в жизнь. Идейность, с точки зрения таких людей, была самым главным достоинством личности. Их поступки тесно связывались с общественными потребностями времени. Так вырабатывались их нравственные устои, которым они остались верны до смертного часа.

Как-то Рада попросила свою маму написать воспоминания. Нина Петровна ничего не ответила.

Разбирая после ее смерти оставшиеся бумаги, Рада увидела автобиографические страницы. Нина Петровна успела написать очень немного. Вот что рассказала она дочери:

«Родилась я 14 апреля 1900 года в селе Василев, Потуржинской гмины (волости) Томашовского уезда, Холмской губернии... У меня был брат на три года моложе меня. Население Холмской губернии было украинское, в селах говорили по-украински, администрация же в селе, в гмине и выше была русская. В школах обучали детей на русском языке, хотя в семьях по-русски не говорили. Вспоминаю, что в первом классе начальной сельской школы, где я училась, учитель бил линейкой по ладоням учеников за провинности, в том числе за плохое понимание объяснений учителя по-русски (дети не знали русского языка). Это называлось «получить лапу».

Мама — Екатерина Григорьевна Кухарчук (девичья фамилия Бондарчук) — вышла замуж в 16 лет и получила в приданое один морг земли (0,25 га), несколько дубов в лесу и сундук (скрыню) с одеждой и постелью. В селе такое приданое за невестой считалось очень приличным. Вскоре после свадьбы отец ушел по призыву на военную службу.

Отец — Петр Васильевич Кухарчук — происходил из более бедной, чем моя мать, семьи, у них был неделимый надел 2,5 морга (3/4 га) земли, старая хата, маленький сад со сливовыми деревьями и одна черешня на огороде. Лошадей у них не было.

Мой отец был старшим в семье. Когда умерла бабушка Домна, его мать, то отец получил в наследство землю и должен был выплатить сестрам и братьям по сто рублей (большая сумма тогда). Думаю, что война 1914 года помешала завершить эту выплату.

Село наше Василев было бедное, большинство жителей ходило на заработки к помещику, который платил за световой день по 10 копеек женщинам на свекле и мужчинам на косьбе по 20—30 копеек. Помню немногое из той жизни: я должна была заготовлять крапиву и большим ножом нарезать ее для свиньи, которую выкармливали к пасхе или к рождеству. Нож часто попадал не на крапиву, а на палец, и до сих пор у меня остался шрам на указательном пальце левой руки.

Мы с мамой, Екатериной Григорьевной, жили в ее семье, хата у бабушки Ксении была просторнее, да и отец отбывал в это время воинскую службу в Бессарабии, а потом, в 1904 году, воевал с Японией. Обедали все из одной миски не за столом, а за широкой скамьей. Малых детей матери брали на руки, а мне и другим детям постарше места не хватало, еду надо было доставать из миски через плечи взрослых. Если проливали, получали ложкой по лбу. Почему-то дядька Антон постоянно высмеивал меня, обещал, что я выйду замуж в многодетную семью, дети будут сморкатые, и мне придется есть с ними из одной миски и добывать еду через их головы и т. п.

В 1912 году отец положил на подводу мешок картошки, кусок кабана, посадил меня и отвез в город Люблин, где его брат, Кондратий Васильевич, работал кондуктором на товарных поездах. Дядя Кондратий устроил меня учиться в Люблинскую прогимназию (4-классная школа), три года до того я уже проучилась в сельской школе. Учитель в селе внушил моему отцу, что я способная к наукам, надо отвезти меня учиться в город, и отец его послушался.

В Люблине я училась один год. На следующий год дядька поступил вахтером в Холмское казначейство и меня перевел в такую же школу в городе Холме.

Первая мировая война застала меня на каникулах в селе Василеве, ученицей второго класса Холмской прогимназии.

Осень 1914 года. К нам в село проскочили австрийские войска, ста-

ли безобразничать — грабить, уводить девушек... Мама уложила меня за печкой, не велела выходить, а солдатам говорила, что у меня тиф. Те, конечно, сразу уходили. Скоро положение изменилось, австрийцев из села вытеснили русские войска, и нам приказали эвакуироваться, куда и как — неизвестно. Лошадей у нас не было, взяли с собой то, что могли унести, и пошли из дома с торбочками. Шли туда, куда все люди шли... Помню, мама долго несла примус, предмет ее хозяйской гордости, а керосина не было, пришлось бросить и примус. Долго и тяжело мы шли впереди наступавших австрийских войск и на какой-то станции набрели на отца, который служил в частях «ратников», это были вспомогательные войска.

Отец доложил своему командиру о встрече с семьей, и тот разрешил нам остаться при части. Мама стала работать кухаркой у командования части, а мы с братом передвигались на подводе отца и кое в чем помогали. Мне было 14 лет, брату Ване — 11.

Во время затишья на фронте командир позвал отца, дал ему письмо к холмскому епископу Евлогию и велел отвезти меня в Киев. Там епископ Евлогий возглавлял какую-то организацию помощи беженцам. Мы с отцом к нему ходили, и он устроил меня учиться на казенный счет в Холмское Мариинское женское училище, эвакуированное из Холма в Одессу. В этом училище в Одессе я жила в интернате и училась до 1919 года, закончила 8 классов.

Несколько слов о епископе Евлогии и об училище. Холмский епископ Евлогий был важным оплотом самодержавия в Польше и ярым проводником русификаторской политики. Он готовил русификаторские кадры из детей местного населения, из западноукраинских сел. Если бы не его вмешательство, никогда бы я не смогла попасть на учебу на казенный счет в это училище, туда не принимали детей крестьян. Учились там дочери попов и чиновников по особому подбору. Я попала туда в силу особых обстоятельств военного времени, описанных выше.

По окончании училища я работала некоторое время в канцелярии училища, выписывала аттестаты, разные бумаги переписывала — машинки пишущей не было.

В начале 1920 года в подполье я вступила в партию большевиков и стала работать по поручениям партии в городе и в селах Одесской губернии. В июне 1920 года по мобилизации коммунистов попала на польский фронт. Меня взяли сначала агитатором при военной части как знающую украинский язык и местные условия, и я ездила по селам, рассказывала о Советской власти. Со мною ездил красноармеец, тоже агитатор. Когда сформировался ЦК Компартии Западной Украины, меня взяли заведовать отделом по работе среди женщин, мы уже были в городе Тернополе. Как известно, осенью 1920 года нам пришлось уйти из Польши. Вместе с секретарем ЦК КПЗУ т. Краснокутским и другими я приехала в Москву и получила командировку на учебу в Коммунистический университет им. Я. М. Свердлова, на шестимесячные курсы, созданные недавно Центральным Комитетом партии большевиков.

Летом 1921 года получила направление в Донбасс, в город Бахмут (теперь Артемовск), в губернскую партийную школу, преподавать историю революционного движения на Западе. До приезда будущих курсантов меня использовал губком партии на работе секретаря губернской комиссии по чистке рядов партии. Там же и я прошла свою вторую чистку, первая у меня была на фронте в Тернополе.

Как известно, после X съезда партии была отменена продразверстка и открылись рынки, на которых появились разные товары — были бы деньги. Я с двумя преподавательницами тоже ходила на рынок за хлебом, и заразились мы втроем сыпным тифом. Одна из нас (Абугова) умерла, а мы двое долго болели сыпняком, потом прибавились еще возвратные тифы, но молодость преодолела болезни, выздоровели. В больницу не брали, лечили в школе. Подкармливала больных Серафима Ильинична Гопнер, работавшая тогда завагитпропом Донецкого губкома партии. Она доставала нам шахтерские пайки через ЦПКП (Центральное правление каменноугольной промышленности), руководил этим учреждением Пятаков, будущий троцкист. Летом 1922 года Серафима Ильинична устроила меня на работу на губернские курсы учителей, организованные в Таганроге, на берегу Азовского моря. Там я выздоравливала после тифа.

Осенью 1922 года получила направление в Юзовку (теперь Донецк) преподавателем политической экономии в окружную партийную школу. Там я встретилась с Никитой Сергеевичем Хрущевым, который учился на рабочем факультете в Юзовке. В 1924 году мы с ним поженились и дальше работали вместе на Петровском руднике Юзовского округа. Район наш назывался Петрово-Марьинский, он объединял шахты Петровского рудника и сельскохозяйственные угодья Марьинки и прилегающих сел. Райисполком Совета рабочих и крестьянских депутатов находился в селе Марьинка, а районный комитет партии — на Петровке. Секретарь райкома жил на Петровке, а председатель райисполкома — в Марьинке.

Еще раньше, в конце 1923 года, меня послали пропагандистом райкома партии на рудник Рутченковка. Здесь жили родители и дети Н. С. (от первой, умершей жены), его сестра с семьей, здесь он работал заместителем управляющего рудоуправлением, отсюда пошел учиться в Юзовку на рабфак. Я вела занятия с шахтерами по политической грамоте, читала лекции в клубе на политические темы, выполняла разные поручения райкома по текущей работе. Поселилась я в доме для приезжих (что-то вроде гостиницы рудоуправления) напротив клуба, перейти дорогу. Но после дождя перейти эту дорогу было очень трудно, сапоги оставались в грязи, ноги «выходили» из сапог. Надо было подвязывать сапоги особым способом. Меня пугали перед поездкой на Рутченковку грязью, а сапог у меня не было, пришлось найти частника, который сшил сапоги. Когда я читала лекции в клубе, то приходило много женщин. Оказалось, что их интересовала я, как жена их приятеля Никитки Хрущева, какую такую он нашел не на руднике, а на стороне...

Когда Н. С. кончил рабфак, то его послали секретарем Петрово-Марьинского райкома партии, а меня перевели с Рутченковки на Петровку, тоже пропагандистом райкома партии. Интересная деталь: пропагандистов оплачивали тогда из центральных фондов, а секретарей райкомов — из местных. Одно время я получала больше, чем Н. С.

Тогда существовала еще безработица, среди коммунистов-шахтеров тоже. После занятий в политшколе на шахте мои слушатели провожали меня домой и, случалось, упрекали, что я работаю и муж мой работает, а мой собеседник ходит без работы, а дома большая семья... Но постепенно жизнь налаживалась, безработные на шахтах исчезали...

В январе 1924 года умер Ленин. Н. С. ездил в Москву на похороны в составе донецкой делегации. По призыву ЦК много рабочих вступило в партию. Это был ленинский призыв. Работы пропагандистам прибавилось, надо было обучать малограмотных рабочих основам политической грамоты, это было трудно. Приехали новые пропагандисты из Москвы, мобилизованные ЦК из состава окончивших разные вузы студентов.

В конце 1926 года Н. С. перешел на работу в окружной комитет партии, где стал заведовать организационным отделом, а я поехала в Москву повышать квалификацию — в Коммунистическую академию им. Крупской. Здесь я училась на отделении политической экономии до конца 1927 года. По окончании курсов меня направили в Киевскую межокружную партийную школу преподавателем политэкономии. Читать надо было на украинском языке, так как слушателями были подпольщики из Западной Украины.

За год моей учебы в Москве Н. С. успел поработать в Харькове в ЦК КП(б)У и к осени 1927 года уже работал в Киевском окружкоме заворготделом (секретарем был т. Н. Демченко, впоследствии невинно репрессирован). Поэтому меня и направили в Киев, хотя очень настаивал товарищ из отдела распределения кадров ЦК, чтобы я поехала в Тюмень...

В Киеве в 1929 году родилась Рада. В том же году Н. С. уехал в Москву в Промышленную академию, а летом 1930 года мы приехали к нему и поселились в общежитии Академии на Покровке, № 40. У нас было две комнаты в разных концах коридора. В одной спали мы с маленькой Радой, в другой Юля, Леня и Матреша — няня, найденная Н. С. к нашему приезду».

(Прерву записки Нины Петровны.

От первой жены, Ефросиньи Ивановны, у Никиты Сергеевича было двое детей — Юлия и Леонид. В 1918 году, спасаясь от немцев, Ефросинья Ивановна перебралась с донбасского рудника в Успенке, где они жили

с Хрущевым, в его родную деревню Калиновку Курской области. Никита Сергеевич был на фронте. Он получил разрешение навестить жену. Приехал в печальную минуту: Ефросинья Ивановна лежала в гробу — умерла от тифа. Хрущев похоронил ее, а малых детей — Юлию двух с половиной лет и восьмимесячного Леонида — оставил на попечение родителей. О первых самостоятельных шагах в жизни, о приобщении Хрущева к революционному движению мне рассказывала Анна Ивановна Писарева, младшая сестра Ефросиньи Ивановны. Семнадцатилетним пареньком вошел он в 1911 году в их шахтерский дом, а в 1914 году Никита и Ефросинья стали мужем и женой.)

«Меня направили работать на Электрозавод, в партийный комитет: сначала организовала и заведовала совпартшколой, через год выбрали меня в партком, и стала я руководить отделом агитации и пропаганды партийного комитета завода.

Парторганизацию на заводе составляли около 3000 коммунистов, завод работал в три смены, у меня работы было очень много — уходила из дома в 8 часов, а возвращалась позже 10 часов вечера. А тут еще несчастье: Радочка заболела скарлатиной, положили в больницу, рядом с заводом. По вечерам я бегала смотреть через окно, что делает дитя, и видела: дали ей миску с кашей, большую ложку, а няня ушла к подругам поболтать. Рада была маленькая, немного больше года; вижу, ребенок стал ногами в миску с кашей и плачет, а няня не идет, и ничем помочь нельзя... Забрали ребенка под расписку досрочно, еле выходили.

На Электрозаводе работала я до середины 1935 года, то есть до рождения Сережи. Выполняли первую пятилетку в два с половиной года, получила почетную грамоту от заводских организаций. Проходила на заводе очередную, третью в моей партийной жизни чистку партии. Познакомилась с большим кругом актива, с литераторами, старыми большевиками и политкаторжанами, приходившими на завод по поручению своих организаций, с подшефными колхозниками. Те годы считаю наиболее активными годами своей политической и вообще общественной жизни.

Н. С. не дали окончить Промышленную академию, взяли его на партийную работу — сначала секретарем Бауманского, а затем Краснопресненского райкомов партии. Тогда шла жестокая борьба партии с правыми. Н. С. был делегатом XV съезда партии от Донецкой организации в 1927 году, а в 1930 году — делегатом от Московской парторганизации на XVI партсъезде. К 1932 году Н. С. работал уже секретарем Московского горкома, а затем и обкома партии. В 1934 году он был делегатом XVII съезда ВКП(б) и был избран членом ЦК партии. В 1935 году Л. М. Каганович, бывший до того 1-м секретарем МГК, уходит на транспорт наркомом, а Н. С. Хрущева избирают 1-м секретарем Московской городской партийной организации. Тут он работает до отъезда на Украину в начале 1938 года, куда его направили на должность секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии большевиков Украины. В Киеве он встретил начало войны в июне 1941 года.

В Москве Н. С. много сил положил на строительство первой очереди метро, набережных Москвы-реки, создание хлебопекарной промышленности (приспосабливали старые круглые помещения. Так требовалось по технологии). Надо было организовывать городское хозяйство, бани, туалеты на улицах, электроэнергию для предприятий Москвы и особенно области... Надстраивали малоэтажные здания, чтобы увеличить жилплощадь, и многое другое...

В этот период, когда у нас уже была квартира в Доме правительства на Каменном мосту (4 комнаты), к нам переехали родители Н. С. Тогда продукты распределяли по карточкам, мой распределитель находился недалеко от завода, а распределитель Н. С. — в теперешнем Комсомольском переулке. Отец Н. С., Сергей Никанорович, ездил в эти распределители за картошкой и за другими продуктами и носил их «на горбу» (на спине), другой возможности не было. Однажды с таким грузом он спрыгнул с трамвая на ходу, да еще в обратную от хода сторону, хорошо, что не убился насмерть. Он же носил Радочку в ясли на 11-й этаж нашего дома, когда лифт не работал... Рада очень любила дедушку.

Бабушка, Ксения Ивановна, больше сидела в своей комнате или брала табуретку и садилась на улице возле подъезда. Возле нее обязательно собирались люди, которым она что-то рассказывала. Н. С. не одобрял ее «сиденья», но мать его не слушалась.

Ранней весной 1938 года мы уехали в Киев, и мне пришлось оставить работу; все, что я делала с этого времени, была работа по поручениям райкома партии. В киевский период я преподавала историю партии в районной партийной школе (при Молотовском райкоме г. Киева), выступала с лекциями, учила на вечерних курсах английский язык. Дети маленькие (трое), часто болели, требовали внимания.

Любопытное отступление. Не помню даты, к сожалению. Когда В. М. Молотов стал наркомом иностранных дел, то ему построили дачу по специальному проекту, с большими комнатами для приемов иностранных гостей, и в какой-то день было объявлено, что правительство устраивает прием для наркомов и партийных руководителей Москвы на этой даче. Работники приглашались вместе с женами, так и я попала на этот прием. Пригласили женщин в гостиную, там я уселась у двери и слушала разговоры московских гостей. Все собравшиеся женщины работали, говорили о разных делах, о детях...

Позвали в гостиную, где были накрыты столы буквой «П». Усадили по ранее намеченному порядку. Я оказалась рядом с Валерией Алексеевной Голубцовой-Маленковой, напротив — жена Станислава Косиора, которого только что перевели на работу в Совет Народных Комиссаров СССР. Уже было известно, что на его место секретарем ЦК Украины поедет Н. С. Хрущев. За ужином я стала спрашивать жену Косиора, что из кухонной посуды взять с собой. Она очень удивилась моим вопросам и ответила, что в доме, где мы будем жить, все есть, ничего не надо брать. И действительно там оказалась в штате повариха и при ней столько и такой посуды, какой я никогда даже не видела. Так же и в столовой... Там мы начали жить на государственном снабжении: мебель, посуда, постели — казенные, продукты привозили с базы, расплачиваться надо было один раз в месяц по счетам.

Вернусь к приему, где для меня все было очень любопытно. Когда гости сели, из двери буфетной комнаты вышел И. В. Сталин и за ним члены Политбюро ЦК и сели за поперечный стол. Конечно, их долго приветствовали аплодисментами. Не помню точно, но, кажется, сам Сталин сказал, что недавно образовано много новых наркоматов, назначены новые руководители, в Политбюро решили, что будет полезно собрать всех в такой дружеской обстановке, познакомиться ближе, поговорить...

Потом говорили многие, называли свои учреждения, рассказывали, как представляют себе свою работу. Дали слово женщинам. Валерия Алексеевна Голубцова-Маленкова говорила о своей научной работе, за что была осуждена женщинами. В противовес ей молодая жена наркома высшего образования Кафтанова сказала, что будет делать все, чтобы ее мужу лучше работалось на новом ответственном посту, чем вызвала всеобщее одобрение.

За этим ужином я узнала, что у т. Косиора два сына. Жена Косиора произвела на меня очень приятное впечатление; я впоследствии часто вспоминала о ней, когда через годы узнала, что она была сослана безвинно в лагерь и расстреляна, а резолюцию о расстреле написал единолично В. М. Молотов. Мне об этом рассказал Н. С. при следующих обстоятельствах. Полина Семеновна Молотова встретила меня во дворе дома на ул. Грановского и попросила передать Н. С. просьбу принять ее в ЦК по поводу восстановления в партии В. М. Молотова, исключенного несколько лет тому назад... Н. С. принял Полину Семеновну и показал ей документ с резолюцией Молотова о расстреле жен Косиора, Постышева и других ответственных работников Украины, затем спросил, можно ли, по ее мнению, говорить о восстановлении его в партии или надо привлекать к суду. Это Н. С. рассказал мне, отвечая на вопрос, приходила ли к нему Полина Семеновна и чем разговор закончился.

В 1935—1936 гг. предприятия работали на непрерывной неделе: пять дней работали, шестой — выходной, по скользящей шкале. Очень для

меня неудобный был режим — никогда не имела выходных вместе с Н. С., он работал с постоянным выходным. Цель непрерывной рабочей недели была хорошая — чтобы оборудование было загружено полностью, чтобы производительность труда росла, чтобы люди меньше уставали. Но не оправдал себя такой порядок, перешли потом на шестидневную рабочую неделю с выходным днем в воскресенье.

Помню, в те годы секретарем МГК по пропаганде работала Евгения Коган, жена Куйбышева, помню ее дочку, Галю Куйбышеву. Помню, как я огорчалась, когда т. Коган устраивала походы своих товарищей в театры — это бывало часто, — а я не могла пойти вместе с ними, потому что по воскресеньям работала на заводе. И все другие культурные мероприятия, в каких участвовал Н. С., мне были недоступны из-за «непрерывки».

Секретарем парткома на Электрозаводе работал т. Юров, очень энергичный товарищ. Тогда называли друг друга по фамилии, не особенно интересовались семейными делами. Юров не знал и не интересовался, за кем я замужем. Однажды он позвонил поздно вечером нам на квартиру, я подняла трубку, он отрывисто спросил, кто у телефона, я ответила: «Кухарчук» — автоматически. «А ты что там делаешь, я звоню на квартиру т. Хрущева?» Очень он был поражен тем, что я, оказывается, жена Хрущева. А вопрос у него был срочный: наши подшефные луга были под угрозой вытаптывания военной конницей, и необходимо было вмешательство МГК до утра следующего дня. На следующий день он меня допрашивал, как это я сумела скрыть свои семейные отношения с секретарем МГК. Я ответила, что не скрывала, а информировать товарищей на заводе без вопросов с их стороны не считала нужным. Кстати, с помощью МГК удалось защитить подшефные Электрозаводу луга от военной конницы...

Работали мы в партийном комитете Электрозавода много. Как я уже упоминала, уходила я из дома в 8 часов утра и возвращалась не раньше 10 вечера. Ездила на трамвае от Дома правительства до Электрозаводской улицы, дорога отнимала не менее часа. По дороге на работу и с работы читала литературные новинки, запомнилась мне «Как закалялась сталь», прочитанная впервые в трамвае. Завод работал в три смены, и партийная, профсоюзная и комсомольская организации (комитеты) должны были обслуживать все три смены: проводили собрания, политзанятия и пр.

В 50-е годы я еще поддерживала связь с работниками завода через Варю Сыркову, ходила к ней в гости, виделась там с товарищами по работе, а после ее смерти, а потом и смерти т. Цветкова (бывшего директора лампового завода) живая связь оборвалась, только по телефону передавала приветы через Тамару Тамарину, работницу электролампового завода с 1916 года. Тов. Юров впоследствии был невинно репрессирован и погиб.

Как мои родители познакомились с Никитой Сергеевичем.

В 1939 году немцы заняли Польшу и приближались к моим родным местам — селу Василеву. Как известно, наши войска в это время двинулись на запад и заняли районы Западной Украины, город Львов и Западную Белоруссию. Н. С. позвонил мне в Киев и сказал, что мое село Василев и окружающий район отойдут к немцам и, если я хочу, то могу приехать с оказией во Львов, а оттуда меня отвезут в Василев, чтобы я смогла забрать своих родителей. Еще Н. С. добавил, что организует мою поездку т. Бурмистенко, секретарь ЦК КП(б)У. Тов. Бурмистенко сообщил мне, что по командировке ЦК едут две женщины для работы во Львове, и я поеду с ними. Одна, молодая комсомолка, ехала для работы с молодежью, а вторая, партийный работник, должна была работать среди женщин Львова. Нам велели надеть военную форму и дали револьверы. Было сказано, что мы переодеваемся для удобства, чтобы военные патрули меньше останавливали нас по дороге. Ехали более менее спокойно, но на дороге недалеко от Львова чуть было не попали под <встречный> грузовик: шофер грузовика не спал три ночи и заснул за рулем. Пострадала только комсомолка — ударилась переносицей... Довез нас на своей машине проезжавший мимо командир (проверил документы), девушку отправи-

ли сразу в госпиталь на перевязку, а мы вдвоем остались на квартире командования. Командовал войсками Тимошенко Семен Константинович, тогдашний командующий Киевским военным округом, Н. С. Хрущев находился в войсках как член Военного совета. Когда Н. С. и Тимошенко вернулись домой и увидели нас в военном и с револьверами, они сперва расхохотались, потом Н. С. очень рассердился, велел немедленно переодеться в платья. И продолжал бурно возмущаться: «О чем вы думаете? Собираетесь агитировать местное население за Советскую власть, а сами приходите с револьверами? Кто вам поверит? Им десятилетиями внушали, что мы насильники, а вы с вашими револьверами подтверждаете эту клевету...»

Переоделась и поехала в Василев за своими родителями. Сопровождал меня Божко Василий Митрофанович, один из бойцов охраны Н. С. Доехали спокойно, нашли хату моих родителей. Отец и мать были дома. Сбежалось много народа посмотреть на меня и узнать новости. Никто не хотел верить, что село отойдет немцам, не знали этого еще и младшие командиры в частях. Но мне разрешил т. Тимошенко сказать, почему я приехала за родителями. Ночью во двор отца поставили танк. Всю ночь в хате толпились военные, грелись, мама их кормила, с ними сидел и В. М. Божко. Под утро приехали представители вновь организованной местной власти, чтобы меня арестовать как шпионку и провокатора. Еле их уговорили Божко и танкисты, что они ошибаются. Утром родители мои и брат с семьей погрузили в полуторку свое все имущество и себя, и мы двинулись на Львов. С нами доехал до первой военной комендатуры представитель местной власти. Он хотел что-то узнать поточнее, но в комендатуре не было еще никаких сведений о территории, которая по договору отойдет к немцам.

Привезла я своих родичей во Львов, во дворец воеводы, где квартировал Н. С. Стали они ходить по комнатам, удивлялись всему. Например, покрутил мой отец водопроводный кран и кричит матери: «Подойди, посмотри, вода льется из трубы». Все прибежали, смотрели, ахали, только брат Иван Петрович сказал, что он видел водопровод, когда отбывал военную службу.

Когда вошли в комнату т. Тимошенко и Н. С., отец, указывая на Тимошенко, спросил: «Это наш зять?» Но я не заметила, чтобы он разочаровался, узнав, что зять его — Н. С.»

Записки Нины Петровны прочитали наши дети, нам с женой хотелось, чтобы они узнали о деде и бабке подробнее, познакомились с тем, как те начинали жизнь, и со временем, о котором знали лишь в общих чертах.

Взвесив, стоит ли публиковать написанное Ниной Петровной, ведь она об этом не думала, Рада и я решили, что стоит, — широкому кругу людей могут быть интересны реалии бытия тех лет, сурового и скупого на ласку. Без блеска и широты обозрения, без глубоких, серьезных познаний о многом — в литературе, искусствах, самой истории — складывались биографии многих представителей того послереволюционного поколения. Не вина да и не беда этих людей, что они учились урывками и все больше для дела, а дело предъявляло им жесткие требования и властно подчиняло себе.

Нина Петровна оборвала свои записи 1939-м годом. Ни сама она, ни Никита Сергеевич не рассказывали своим близким, как складывались их судьбы. Хрущев с первых дней нападения фашистской Германии на нашу страну был на фронте. Вместе с генералом Кирпоносом возглавил оборону Киева и вернулся туда 6 ноября 1943 года, когда город был освобожден советскими войсками.

Однажды на торжествах, посвященных годовщине Сталинградского сражения, побывал Зиновий Тимофеевич Сердюк, товарищ Хрущева по работе на Украине, член Военного совета 64-й армии генерала М. С. Шумилова, сражавшейся в Сталинграде. Пришел в мемориальный музей. В самом дальнем углу висел маленький снимок заседания Военного совета фронта. Группа посетителей толпилась у стенда, и кто-то удивился: «Смотрите, тут, кажется, Хрущев, разве он воевал в Сталинграде?»

«Это были взрослые люди, не юноши и девушки, и мне пришлось прочитать им маленькую лекцию, — рассказывал Сердюк. — Они ушли, а я тогда подумал: может ведь случиться, что забудут не только многих, но и многое...».

Он прав. Склоняете ли вы голову, останавливаетесь ли в минутном молчании перед Триумфальной аркой в честь победы в Отечественной войне 1812 года? Впрочем, как это сделать? Установлена она так, что подойти к ней очень трудно, — справа и слева поток автомобилей. Когда ее восстанавливали, не задумывались, не вспоминали тех, кто сложил и за нас головы под Бородино. Реставрировали камни и бронзу, а сама по себе это цель пустая.

В 1987 году уже в поредевшей компании старых товарищей отметили мы 35-летие первого выпуска факультета журналистики МГУ. Жизнь разбросала нас по городам и весям, а многим, увы, не пришлось дожить до этого дня...

Когда сейчас спрашивают о первых послевоенных годах и при этом говорят: «Вам, конечно, было тяжело!» — я отвечаю совсем не так, как того ожидают.

Нет, говорю я, нет! Хотя не скажешь, что то время было простым и легким, главенствовало ощущение счастья. Мы представляли значимость дела, которому собирались служить, хотели как можно лучше и активнее проявить себя. Эти личные цели перекрывали все остальное в жизни тех лет.

Никто из нас не отважится назвать Московский университет того времени островом вольности, как никто не ставит слишком высоко образование, которое мы тогда формально получили. Филологи не прочли доброй половины книг лучших русских и советских писателей, историки западной литературы не знали имен многих литераторов «оттуда». Журналистам мало что говорилось о мировой прессе. Зато мы зубрили латынь и распевали при сдаче экзаменов по древнегреческой литературе: «С ужасом в город вбежав, трояне, как олени младые...» — в усладу нашему милейшему старцу профессору Радцигу. Может быть, это укрепляло нашу образованность, но более важных знаний нам не хватало.

На всю жизнь мы усвоили правила самообразования и наверстывали упущенное в университетских программах с жаждой и упорством.

На экзаменах, стоя перед черной доской, на которой по заданию профессора Галкиной-Федорук (она читала курс истории русского языка) были написаны длинные сложные фразы, не каждый мог быстро определить, где подлежащее и где сказуемое, и Евдокия Михайловна только крякала от досады. Галкина-Федорук не занижала оценок за пробелы в школьных знаниях, ведь между школой и университетом у большинства был фронт и у всех — война, а приглашала обычно прийти к ней домой, подзубрив предварительно элементарные правила. Принимая дома, сообщала, за каким из двух огромных сдвинутых столов работает она, а за каким ее муж — историк, в ту пору проректор МГУ. При особом расположении Евдокия Михайловна доставала баночку с вареньем, наливала чаю и с ехидцей спрашивала: «А знаешь ли ты, милый товарищ, что перед «а», «но», «да» ставятся запятые, а когда «бы», «ли», «же» пишутся отдельно»? Чаще всего домашний экзамен оканчивался благополучно.

Евдокии Михайловне нелегко дались «университеты», она начинала с самой черной работы, была даже грузчицей, и уже взрослым человеком осваивала азы грамматики. Сам Рабле мог бы позавидовать сочности и яркости ее речевых оборотов, когда она читала лекции о вульгарных словах и выражениях в русском языке. «А ну-ка, заприте двери», — обращалась она к старосте курса... Быть может, оттого, что мы слушали эти дерзкие и откровенные лекции Галкиной-Федорук, никто из нас не сквернословил. Нравы в пору нашей молодости были довольно строгие. В те годы все окрашивала Великая Победа. Она рождала чувство братства, единения, на ее фундаменте крепилась уверенность в том, что лучшее впереди, что все нам по плечу, что человеку не страшен никакой черт. Наверно, это ощущение счастливого будущего шло и от неведения, незнания многого...

Мы не были, конечно, такими уж простодушными бодрячками. Кое-что все-таки настораживало. К примеру, в 1949 году был арестован доцент Пинский, он прекрасно читал историю западной литературы XVIII—XIX веков. Стали «исчезать» с биологического факультета не только преподаватели, но и студенты. После августовской сессии ВАСХНИЛ в 1948 году для всех факультетов был введен курс мичуринской биологии — студенты называли его «лысенкоедение». В Коммунистическую аудиторию, самую большую тогда в университете, однажды явился профессор Презент, главный сподвижник Лысенко, и сообщил, что познакомит с новым важным учением. Он читал лекции зло и как-то надменно, будто поучал своих поверженных противников.

Думаю, что многие студенты-биологи относились к новому учению без почтения, хотя явно выражать это было более чем опасно. Филологи играли на лекциях в «морской бой», поскольку их не интересовали проблемы межвидовой борьбы, влияния среды на воспитание особи и т. д.

Однажды Презент соскочил с кафедры и, подлетев к моему соседу Авениру Захарову, выхватил у него листочек с квадратиками «морского боя». «Чем вы занимаетесь, студент, — прокричал он, размахивая перед носом Авенира бумажкой, — чем?!» Захаров, небольшого роста, плотный, как боровичок, в полинявшем бушлате, поскольку служил в войну на торпедных катерах, спокойно принял бумажку из рук Презента и проговорил: «Профессор, вы разговариваете со старшиной первой статьи Советского Военно-Морского Флота, па-пра-шу не кричать. «Морской бой», в который я сейчас играю, мое профессиональное занятие, оно меня успокаивает и помогает вникать в вашу чересчур сложную лекцию!»

Как ни странно, Презент сник и поспешно вернулся на кафедру. Через минуту ему была передана записка: «Не может ли профессор порекомендовать способ скрещивания клопа и светлячка — это облегчит нашу жизнь на Стромынке?»

Нас, филологов, главные события ждали, однако, впереди.

9 мая 1950 года в «Правде» была опубликована статья грузинского языковеда Арнольда Степановича Чикобавы о некоторых вопросах советского языкознания. Статья эта занимала всю специально для нее предназначавшуюся вкладку и сопровождалась предисловием от редакции, где сообщалось, что открывается свободная дискуссия по проблемам языкознания, направленная на преодоление застоя в этой важной области науки.

Через много лет редактор «Правды» той поры, человек острого, ироничного ума, рассказал, как появилось это сочинение в газете.

Неожиданно его пригласил Сталин на свою «ближнюю дачу» в Волынское и показал плотную стопку листов, исписанных четким почерком. Усадив за стол, сказал, что один его знакомый из провинции прислал статью. Пусть редактор прочтет ее сейчас и скажет, стоит ли печатать. Редактор понимал, что просто так, из желания посоветоваться, Сталин не стал бы вызывать его. Решение уже принято, но ему нужно было подтверждение той важности, какую он придавал статье.

Сталин неслышно ходил по комнате, время от времени наклонялся к столу, брал один из карандашей, лежавших аккуратной кучкой, наклонялся над плечом редактора и вносил какую-нибудь мелкую поправку: ставил запятую, снимал лишний союз... Не знаю, как уж там давалось редактору чтение этой весьма специальной статьи, что смог понять он в характере языковедческого спора Чикобавы с Марром, наверное, его больше занимал Сталин, мерно шагавший за спиной. Ни вопросов, ни замечаний. Молчание. И даже когда Сталин останавливался и почему-то трогал пальцем редеющую макушку редактора, оглядываться не хотелось.

Шутливый тон этого рассказа (чего не случается, дескать, с газетчиками) никак не вяжется с дальнейшими событиями. Как только статья Чикобавы была напечатана, пошли еженедельные вкладки в «Правде». Дискуссия полыхала вовсю, и студенты-филологи поняли, что ее огонь подпалит и нас, грешных. Мы учились по Н. Я. Марру, и учили нас его твердые последователи. Деканом факультета был тогда Николай Сергеевич Чемоданов, ярый маррист, жесткий человек, читавший лекции сложно, нисколько не заботясь о том, как их воспринимают студенты. На его экзаменах слабонервные девицы, загнанные в угол неожиданными и мало-

понятными вопросами, падали в обморок. Нас сразу взволновало главное: не придется ли пересдавать экзамены?

В отличие от сессии ВАСХНИЛ, где Лысенко и его приспешники сразу же начали громить «вейсманистов-морганистов», буквально затаптывать своих оппонентов, открыто переводить научный спор в политическое русло, языковедческая дискуссия сперва была иной, более демократичной.

На Чикобаву резко ополчилась целая группа ученых. Языковеды-марристы чувствовали себя в полной безопасности, так как за ними были не только авторитет Марра, чья точка зрения считалась официально признанной, но и позиция директора Института языка и мышления Академии наук СССР академика Ивана Ивановича Мещанинова. Он был первым языковедом, удостоенным звания Героя Социалистического Труда.

Ученые мужи сначала не поняли, где, в чьем кабинете читал знакомый мне редактор странички, которые они так лихо отвергали. В дискуссию вступили те, кто разделял точку зрения Чикобавы. Теория Марра о том, что язык есть надстройка над базисом, начала рушиться. Студентов особенно взбудоражила статья молодого ученого нашего факультета Бориса Александровича Серебренникова. Он был в ту пору то ли аспирантом, то ли едва успел защитить кандидатскую. Серебренников всегда держался принципиально, независимо, не скрывал отрицательного отношения к учению Марра. Он был учеником известного лингвиста академика В. В. Виноградова. Академика убрали с факультета, а его ученика ломали на собраниях, семинарах, ученых советах и в конце концов исключили из партии. Студенты считали это несправедливым и обрадовались, когда увидели публикацию Серебренникова в «Правде». Он отстаивал свою точку зрения...

Борис Александрович теперь академик, один из крупнейших советских лингвистов. Его принципиальная позиция, весь последующий путь в науке — пример достоинства и верности своим убеждениям. Для многих студентов той поры это был хороший урок, как может и должен отстаивать человек свои взгляды.

Статья Сталина «Относительно марксизма в языкознании», опубликованная в «Правде» 20 июня 1950 года, расставила все точки и запятые в этом споре. Поверженные каялись, победители торжествовали.

Держу в руках брошюрку, экстренно выпущенную издательством «Правда» с материалами дискуссии, в том числе с ответом Сталина, как было сказано, группе товарищей из молодежи, обратившейся к нему «с предложением высказать свое мнение в печати по вопросам языкознания, особенно в части, касающейся марксизма в языкознании». Вновь читаю строки, которые некогда приходилось заучивать наизусть.

Сталин писал: «Дискуссия выяснила, прежде всего, что в органах языкознания, как в центре, так и в республиках, господствовал режим, не свойственный науке и людям науки. Малейшая критика положения дел в советском языкознании, даже самые робкие попытки критики так называемого «нового учения» в языкознании преследовались и пресекались со стороны руководящих кругов языкознания. За критическое отношение к наследству Н. Я. Марра, за малейшее неодобрение учения Н. Я. Марра снимались с постов или снижались по должности ценные работники и исследователи в области языкознания. Деятели языкознания выдвигались на ответственные должности не по деловому признаку, а по признаку безоговорочного признания учения Н. Я. Марра.

Общепризнано, что никакая наука не может развиваться и преуспевать без борьбы мнений, без свободы критики... Создалась замкнутая группа непогрешимых руководителей, которая, обезопасив себя от всякой возможной критики, стала самовольничать и бесчинствовать... Если бы я не был убежден в честности товарища Мещанинова и других деятелей языкознания, я бы сказал, что подобное поведение равносильно вредительству».

Кто не согласится с чеканной мыслью Сталина о том, как должна развиваться наука? Но как — нам, теперь — не поразиться фарисейству. Будто и не было трагедии великого труженика науки Николая Ивановича Вавилова и десятков его коллег. Будто не было заушательской, разносной, а точнее сказать доносной, критики со стороны Лысенко. Будто не преследовали тех, кто сомневался в открытии О. Лепешинской, которая, не выходя из своей квартиры, «разгадала» великую тайну происхождения живого

из неживой материи. Она же, кстати, обосновала возможность омоложения содовыми ваннами. В ту пору в аптеках исчез порошок, употреблявшийся ранее как средство от изжоги.

За всем этим — постоянное стремление взвинчивать, предельно накалять общественную атмосферу. Какой-то театр абсурда, нечто за гранью логики... Теперь, спустя тридцать с лишним лет, это представляется сценами из инфернального мира. А мы-то жили в мире реального и если говорить о нас в массе, верили всему, о чем читали в газетах и слышали на собраниях. Или, быть может, принимали на веру — все, что шло сверху вниз... Самоотстранение от сложных процессов общественного бытия было не только защитной реакцией — оно постоянно культивировалось: «Не лезь не в свое дело», «Наверху виднее», «Что, тебе больше других надо?» Психология, по сути, чуждая природе нашего общества, укреплялась в сознании многих.

Это уже после XX съезда партии стало понятнее, зачем так долго и так настойчиво вырабатывалась система низведения личности до положения «винтика» — ведь проще иметь дело с политическими младенцами.

Когда буря языковедческих дискуссий миновала, мой товарищ по факультету Виталий Костомаров вздохнул с облегчением. Ему, правда, влепили строгий выговор с занесением в учетную карточку — он что-то не так сказал на языковедческом семинаре, — но из комсомола не исключили. Чуть позже Костомарова как идеологически нестойкого не утвердили на общественную должность машинистки в стенную газету «Комсомолия». Встретившись недавно, мы посмеялись, конечно, над бдительностью своих сокурсников. Виталий сохранил листок многотиражной газеты «Московский университет», где в небольшой заметке студент-журналист А. Аджубей утверждал, что должность машинистки может быть предоставлена В. Костомарову, ибо является чисто технической. После этой заметки я был отстранен от прохождения по Красной площади в студенческой спортивной колонне МГУ и назначен на праздничные дни дежурить по факультету. Виталий Григорьевич Костомаров теперь директор Института русского языка имени А. С. Пушкина... Университетское время окрашено для студентов каждого выпуска в свой цвет. Я выделяю однокурсников не только потому, что мы были из первого послевоенного выпуска, но и по той причине, что очень скоро нас ждали острейшие переломные события.

Строилось новое здание МГУ на Ленинских горах, его открыли через год после окончания наших занятий — в 1953-м. Темпы возведения были рекордными и для нынешнего времени: всего шесть лет. Колючая проволока, сторожевые вышки, высокие заборы, которые окружали огромную строительную площадку, отъединяли нас, копавших во время воскресников траншеи для укладки труб, переносивших кирпич, убиравших территорию под будущие цветники, от «зеков» (странное дело, до сих пор в университете есть зона «А», зона «Б» и так далее), которые выполняли более тяжелую работу, но это не смущало и не пугало нас. По нашим тогдашним представлениям, за проволокой шло перевоспитание трудом, который мы, вольные, считали тем главным, что лежит в основе человеческого достоинства. Нашим трудом было ученье. Нас не посылали копать картошку, перебирать овощи на базах. Учиться хорошо и отлично считалось исполнением долга и проявлением общественной сознательности. Ребята, получавшие Сталинские стипендии, вызывали уважение.

В конце 1950 года я проходил практику в газете «Комсомольская правда». В военно-спортивном отделе, которым заведовал Борис Иванов, получил первое журналист кое задание — написать о стрелковых соревнованиях на стрельбище «Динамо» в Мытищах. Участники соревнований расположились в белых вылинявших палатках, а выходя на линию огня, палили по таким же простеньким мишеням, какие висели в стрелковом клубе МГУ. Записав все данные о соревнованиях и победителях, я ринулся в редакцию и к вечеру отдал Борису Иванову свое сочинение. «Пойдет», — сказал он, проглядев страничку.

Утром я не отыскал заметку на последней полосе, где обычно печатали спортивную информацию. Прибежал в редакцию, робко постучал в

кабинет Бориса Иванова. Он тиснул мою руку и сказал: «Старик, поздравляю с первой публикацией», — наклонился к столу и отчеркнул на газетной полосе крошечный, пять строк, столбик, набранный петитом в подбор с другой информацией. Больше всего я жалел об утере заголовка «Белые палатки, беглый огонь». Но зато меня приятно кольнуло по-доброму сказанное «Старик...» В «Комсомолке» тех лет это слово кое-что значило.

Борис Иванов выложил передо мной пачку писем читателей в редакцию и послал неподражаемо элегантным жестом прощальный привет. Дневная норма для литературных сотрудников была тогда — обработать сорок писем. Я не успевал. День за днем стопка писем росла. Росла и моя тревога: не справляюсь. Рабочий день растягивался до раннего утра. Я начал понимать, как делается газета. Хаотичное мельтешение людей, беготня к дежурному или главному редактору, ворохи оттисков с пометками «отделу информации», «свежей голове», крики по местному телефону снизу, от верстальных столов: «Сократите хвост Семушкину», «Рубаните Чачина» и т. д.

Через какое-то время я стал разгребать почту увереннее и даже готовил подборки писем. Таких подборок становилось все больше, и все больше писем отсылали на мой стол и «зав», и «зам», и даже старший по возрасту, а следовательно, и по положению литературный сотрудник. Роптать не приходилось — практика. За усердие стали чаще давать и репортерские задания...

Как-то само собой получилось, что, когда практика окончилась, я продолжал бегать в «Комсомолку». Однажды Борис Иванов предложил поступить на постоянную работу в отдел. Предвидя вопросы, он разрешил их с убедительной простотой: «Да что ты, не сумеешь окончить университет, работая у нас? Проблем не будет, главный сказал, что сможет договориться насчет свободного посещения лекций (ни заочного, ни вечернего отделений тогда не существовало). И вот в 1951 году я стал «вольноопределяющимся» студентом МГУ и штатным сотрудником «Комсомольской правды». Здесь, не перескакивая ни через одну служебную ступеньку, и довелось пройти весь путь «от» и «до».

Вспоминая «Комсомолку», многие ее бывшие сотрудники называют газету родным домом, дружной семьей, где все были братьями и сестрами. Важнее, мне кажется, другое. Во-первых, ценился и вырабатывался профессионализм, во-вторых, уже в самом начале пятидесятых больше, чем в других газетах, допускались свобода мнений, спор, поощрялась острая тема. Там приветствовали тех, кто любил письма, шел к теме от реальных историй, от обращения к раздумьям читателя, от факта жизни, а не от схем, какими заполнялись тогда страницы многих газет.

Однако и плата за честь работать в таком замечательном коллективе была высокой. Все интересы — в газете. Все время — газете. (Это без преувеличений: рабочий день длился не менее 12, а часто и 14 часов.) Командировки хоть на край света по первому слову редакции. А главное — надо было непрерывно снабжать газету находками, отыскивать необычное. Чтобы «вставить фитиль» коллегам из другого издания. «Старик, — слышалось в таком случае в комнате отдела, в лифте, в коридоре, в столовой, — старик, главный одобрил, — еду, лечу, встречаюсь...»

Как легенды передавались истории о корифеях «Комсомолки», которые добывали материалы в самых невероятных обстоятельствах. Семен Нариньяни, блестящий фельетонист, в 1934 году во время первого физкультурного парада прорвался на Красной площади к Максиму Горькому и с его помощью получил по нескольку строк впечатлений о празднике от всех членов Политбюро, включая Сталина. Когда Нариньяни доложил об этом редактору, тот не поверил. Но тут раздался звонок из высокого секретариата, и к сказанному на Красной площади было добавлено еще несколько строк.

Читатель нынешней «Комсомольской правды» вряд ли увидит газету начала пятидесятых, разве что в библиотеке или музее. Тридцать с лишним лет миновало с той поры. Если бы по какой-то странной случайности в его почтовом ящике оказалась та, «наша», «Комсомолка», он, молодой человек конца двадцатого века, наверное, удивился бы и, чего

доброго, пожалел бы и прежних читателей, и тех, кто делал газету. «Комсомольская правда» 50-х годов была куда как скромнее, если хотите, проще, суше, чем нынешняя. Две-три маленькие фотографии на четырех страницах, а чаще и без фотографий (на «украшательство» существовал строгий лимит), «слепые» колонки статей, небольшие заголовки, никаких броских аншлагов, минимум рисунков, карикатур — каждый сантиметр площади для дела. Засушивало газету обилие официальных протокольных заметок. Телетайп категорично отстукивал, куда их ставить. «В правый верхний угол второй полосы», «В левый нижний угол третьей полосы»... Случалось, что на «угол» претендовали сразу три материала, и тогда победу одерживало ведомство рангом выше.

Ночь напролет переверстывалась «Комсомолка». Терявшие силы и терпение метранпажи Матвеич или Степаныч (они верстали еще дореволюционную газету «Копейка») охрипшими голосами кляли дежурных по номеру и «верхнюю» редакцию. Оба они были милейшими, добрыми людьми, кладезем всевозможных баек о газетах и газетчиках, и мы относились к ним с великим почтением. Нервотрепка была скорее общим стилем ночной редакции. Газета, выбившись из графика, выходила днем, а то и вечером. В другие города она попадала через несколько суток. Фототелеграфа не существовало, матрицы везли на аэродромы и к поездам, которые, в свою очередь, либо не могли ждать газету, либо сами опаздывали. Как было объяснить читателям, что сообщение о завтраке в честь господина Н. дошло до нас к позднему ужину? Чиновники многочисленных ведомств мало считались с газетами, как, впрочем, и с газетчиками.

Листаю подшивки «Комсомолки». Выветрился запах типографской краски. Желтизна поползла по страницам. Когда белый мех начинает желтеть, скорняки говорят, что он умирает. Как бы ни изменили цвет газетные полосы, цена их только возрастает. Прошлое, если оно было достойным, работает на современность, зовет человека не вспять, а к возведению на земле новой жизни.

Мы любили свою «Комсомолку», делали все, чтобы она была другом и советчиком читателя. Впрочем, если быть откровенным, приходилось подниматься на котурны чаще, чем хотелось. Именно в те годы утвердились такие газетные выражения, как «битва за хлеб», «битва за металл». Они шли, конечно, и от жизни, ибо бились люди за многое. Победы давались тяжело, как на минувшей войне...

Совсем недавно мой друг, как раз из таких, кто знает, как даются журналистам строки, пришел на родной факультет в МГУ, чтобы встретиться со старшекурсниками. В его газете намечались две вакансии, и он хотел подыскать среди выпускников подходящих кандидатов. Мой друг — фантазер и, чтобы дать каждому равный шанс, предложил студентам написать две-три странички на «вольную тему», отметить девизом, а во втором, запечатанном конверте, сообщить фамилию. Газета, в которой он работал, — одна из самых боевых, попасть туда журналисту — все равно, что актеру выдержать конкурс у Ефремова. Через месяц, как и было условлено, он вновь пришел на факультет. В деканате узнал, что никто из выпускников не пожелал участвовать в конкурсе.

Уверен, в наши студенческие годы ни один не отказался бы. Должно быть, наше отношение к профессии было более трепетным. Если будущий журналист проявляет безразличие к своей собственной судьбе, вряд ли его взволнует судьба чужая...

В «Комсомолке» авторитет главного редактора был непререкаем. Ум, широта интересов, острота взглядов снискали Горюнову всеобщее уважение. Дмитрий Петрович был строг, почти официален, молодежь побаивалась его гнева, который, впрочем, не возникал без причины. Все знали, что «главный» не злопамятен, способен, если ошибся, изменить свою точку зрения. Он радовался удаче каждого сотрудника — опытного и начинающего, готов был поддержать в трудную минуту, даже если по каким-то обстоятельствам это давалось тяжело. Однажды Борис Иванов, заведующий военно-спортивным отделом, написал для газеты большой материал о канадском хоккее. На «Комсомолку», допустившую пропаган-

ду «космополитизма» (в ту пору такое обвинение могло обернуться как угодно), обрушил гнев сам К. Е. Ворошилов. Канадский хоккей показался ему подозрительным. Почему канадский? Низкопоклонство!

По поводу канадского хоккея Горюнова непрерывно куда-то вызывали, он возвращался злой, резкий, коридор пустел — никто не желал попасться на глаза редактору в такую минуту. Затем Борис Иванов был вызван к главному, вся редакция волновалась за него. Мы так и не узнали, какие и с кем Дмитрий Петрович вел переговоры, но канадский хоккей вместе с Борисом Ивановым реабилитировали, велели, правда, именовать игру «хоккеем с шайбой».

В 1957 году Горюнов попрощался с «Комсомолкой», перешел в «Правду», потом много лет смело, энергично вел ТАСС. Внезапно, а все внезапное по-своему закономерно, Дмитрия Петровича назначили послом в Кению, затем в Марокко. Держали там долго, больше десяти лет, додержали до пенсии и вывели прекрасного журналиста на «заслуженный отдых». В ту пору Брежнев нередко отправлял в заграничную отлучку «строптивых». Горюнов не был покладистым и не спешил говорить вслед за словом «слышу» слово «слушаюсь». Многие сотрудники «Комсомолки» считают его своим учителем, в том числе и по этой причине.

15 января 1953 года в «Комсомольской правде» появилась передовая статья «Быть зоркими и бдительными!» За три дня до этого меня вызвал заместитель главного редактора Отар Давыдович Гоцеридзе, усадил за стол, запер дверь кабинета и, протянув небольшую папку, сказал: «На, прочти, запомни, что здесь сказано, а потом пиши передовую. Сообщение будет завтра, а передовая нужна к вечеру. Читай, читай, потом обсудим».

Он занялся своими делами, а я начал просматривать странички из папки, и у меня зарябило в глазах. Врач кремлевской больницы Лидия Федоровна Тимашук раскрыла банду врачей — вредителей, убийц и шпионов, повинных в гибели ряда видных деятелей партии и государства и готовивших еще более злодейские акты. (Сообщалось, что они залечили до смерти Жданова и Щербакова.)

Среди врачей-убийц профессора Вовси, Виноградов, начальник лечсанупра Кремля Егоров, Коган, Фельдман и другие. Академики, доктора наук, медицинские светила, допущенные в святая святых — Кремль! Вчитываясь в строки сообщения, я содрогался. Мой личный опыт общения с врачами был равен нулю, однако встречались знакомые имена. Одним из первых был назван Владимир Никитич Виноградов, крупнейший терапевт, блестящий диагност. Он не раз бывал в доме Хрущева, лечил Нину Петровну, оставался по приглашению хозяев обедать, рассказывал анекдоты из медицинской практики.

И этот Виноградов, доброжелательный, смотрящий прямо в твои глаза человек, как говорили, много лет наблюдавший за здоровьем Сталина, — шпион и убийца! У нас с женой только что, 21 декабря 1952 года, в день рождения Сталина, появился первенец Никита; Рада еще лежала в родильном доме на улице Веснина, в том самом, из «врат» которого вышли в свет многие сыновья, дочери, внуки и внучки партийных и советских руководителей — «правительственные дети», как говорили сотрудники роддома. Читая документы, я невольно думал о Раде и малыше.

Виноградов запомнился еще и потому, что он густо пересыпал свои фразы непонятным словечком «куцо». «Прихожу вчера домой, куцо, а ветер раскрыл окна, все бумаги, куцо, на полу...». Это словечко, похожее на «кацо», каким-то странным образом шло Владимиру Никитичу.

«Куцо» — стучало в висках, наверное, я выглядел ошалелым. Гоцеридзе покачал головой и со значением сказал: «Вот так-то. Ты все понял? Нужна передовая. Материалы, которыми следует пользоваться, перечитай серьезно». Он встал, открыл дверь кабинета, протянул ключ: «Запрись, чтобы не мешали. Когда напишешь статью, отдашь мне». Он не прибавил «только мне», но это было само собой понятно.

В той передовой статье были такие строки: «Выступая на февральско-мартовском Пленуме ЦК ВКП(б) в 1937 году, товарищ Сталин говорил: «Спрашивается, почему буржуазные государства должны относиться к Советскому социалистическому государству более мягко и более добрососедски, чем к однотипным буржуазным государствам? Почему они должны засылать в тылы Советского Союза меньше шпионов, вредителей, диверсантов и убийц, чем засылают их в тылы родственных им буржуазных государств? Откуда вы это взяли?»

В бумагах, которые я получил, эту цитату особо рекомендовалось использовать. Передовую напечатали. На редакционной летучке, где оцениваются и разбираются номера газеты за прошедшую неделю, о ней не было сказано ни слова. Такие темы не критиковались. Не стану утверждать, что тон передовой был более спокойным, чем в других газетах. Концовка призывала молодежь к зоркости и бдительности. Единственное, что отличало передовую, — в ней не перечислялись имена врачей. Теперь данное обстоятельство можно поставить себе в заслугу. Но малого стоит такая заслуга!

Через много лет Светлана Сталина напишет, что после ареста врачей ее отец отказался от услуг медиков, начал выбирать лекарства сам, капал в мензурку йод от склероза. Еще бы, как он мог пустить в дом людей вроде Виноградова, который лечил его двадцать лет, которому он поверял интимные стороны своей жизни, рассказывал о болях душевных и телесных, а презренный убийца исподволь готовил ему страшную кончину?!

Врач для больного, как священник для верующего. Если лгут священники, — а это Сталин знал, ибо сам мог стать священником, — почему не могут лгать врачи? Почему буржуазные государства «должны засылать в тылы Советского Союза меньше шпионов, вредителей, диверсантов и убийц, чем засылают их в тылы родственных им буржуазных государств? Откуда вы это взяли?».

Я понимал, что срочное поручение объяснялось по крайней мере двумя причинами: во-первых, у меня должны были найтись особо гневные слова — как-никак, и мою семью могли отравить; во-вторых, таким заданием оказывалось доверие. Зять Хрущева был подходящей фигурой.

В первый же свободный час я поспешил к жене в родильный дом, и там мы шепотом обсудили страшное известие. Сидела в комнате и молоденькая медицинская сестра Галя Семенникова. Ее больше всего поразило, что в списке значился начальник лечсанупра Кремля Егоров. У него только что в этом родильном доме появился на свет сын. «Господи, — причитала Галя, заливаясь слезами, — такая милая, красивая женщина, такой хорошенький мальчик, что с ними теперь будет? И что надо было этому извергу, ведь все уже есть, все есть...»

Это искреннее сопереживание — милость и гнев, задело меня больше, чем строки собственной передовой.

Мы дружим с Галиной Семенниковой и ее семьей тридцать пять лет. Галина Анатольевна стала хорошим врачом, организатором здравоохранения. Нет-нет да и вспоминаем мы тот разговор на улице Веснина, радуемся, что мальчик, родившийся перед арестом отца, не нес всю жизнь тяжелый крест сына врага народа. Да только ли этот мальчик?!

Страх и ненависть — сходные чувства. Ненависть к врачам-убийцам набирала силу. В поликлиниках и больницах врачи ходили как побитые. Газеты публиковали отклики трудящихся, клеймивших извергов и убийц. Был опубликован Указ о награждении Тимашук орденом Ленина «за помощь, оказанную Правительству в деле разоблачения врачей-убийц». Нашлось немалое число желающих занести и своего районного доктора в шпионы и вредители. Матери с ужасом вспоминали, что лечили своих детей у того или иного из поименованных. Больные требовали, чтобы в аптеках установили более строгий контроль за приготовлением лекарств.

В доме Хрущевых арест врачей не комментировался, хотя естественно предположить — никого не оставил равнодушным. Никита Сергеевич предпочитал лечиться сам. Иногда он приезжал с работы днем, и его ждала горячая ванна. Таким нехитрым, но проверенным способом ему удавалось снять почечные колики. Он по-прежнему много ездил по области, бывал в колхозах, на строительных площадках, где шло сооружение

первых заводов железобетонных конструкций. В городе катастрофически не хватало жилья, сотни тысяч людей жили в подвалах и коммуналках — в жутких условиях. Если поездка намечалась на воскресенье, он приглашал Раду и меня — младшие еще не доросли.

Затрудняюсь сказать, почему он брал нас с собой. Журналистику в ту пору не считал серьезным занятием и уж тем более не ждал от нас никаких «публикаций».

Никита Сергеевич не терпел одиночества. Любил, чтобы кто-то был рядом. Он засиживался в МК допоздна. Начальник его охраны обычно звонил мне в газету и спрашивал: «Ну как, вышла в свет наша дорогая «Комсомолочка»?» Если позволяли обстоятельства, присылали за мной «хвостовую» машину (членов Президиума ЦК сопровождала машина охраны), и я, случалось, долго ждал у подъезда МК, пока выйдет Хрущев и мы поедем на дачу в Усово. Он предпочитал жить там, а не в переполненной городской квартире. Его тянуло на природу. Как бы поздно он ни приехал, обязательно гулял 15—20 минут, а утром быстро проходил по дорожкам свои полтора-два километра. Это позволяло ему выдерживать нагрузку, а в городе возможности погулять не было.

Во время ночных возвращений с Никитой Сергеевичем никаких деловых разговоров не велось, и более чем наивен тот, кто предполагает, что они вообще возможны в домашних обстоятельствах: «сказал Хрущеву», «посоветовался с Хрущевым» и т. д. Ехали обычно молча. Хрущев не спрашивал меня, как шло дежурство в газете, а я не задавал вопросов о его рабочем дне.

Утром в воскресенье Никита Сергеевич обычно просил прочитать ему театральный репертуар и почти всегда выбирал что-нибудь знакомое. Младшие члены семьи стали ходить с отцом в театр чуть позже, а в начале пятидесятых эта повинность лежала на нас с женой. Я не оговорился: именно повинность. Никита Сергеевич чаще всего выбирал МХАТ, хотя много раз видел практически все спектакли. «Горячее сердце», наверное, раз десять, не меньше, и мы вместе с ним. Соглашался на любую оперу в Большом, а к балету относился равнодушно. Правда, принимал и балет, если танцевала Уланова или другая известная балерина.

Любил он театр имени Моссовета, считал его своим, московским. Юрий Александрович Завадский во время антракта непременно приглашался в ложу на чай. Они вспоминали многих актеров той поры, когда Хрущев в начале и в середине 30-х только начинал в Москве. Однако, если Завадский втягивал Хрущева в деловые разговоры, в оценку спектакля, Никита Сергеевич отшучивался: «Вы же видите, я не собираюсь уходить со второго акта. — И добавлял после паузы: — Хотя, может быть, и хочется. Зачем обижать актеров...»

В ту пору он не считал себя судьей ни в театральных делах, ни в кино, ни в литературе. Правда, в машине мог обронить: «Ерунда какая-то». Но не больше. Он не принимал бытовые спектакли, не любил «копания в грязном белье».

В его привязанностях особое место занимал документальный кинематограф. Киножурналы, посвященные науке, строительству, сельскому хозяйству, просматривал непременно. Если в просмотровом зале были помощники, он поручал им собрать дополнительные сведения о тех или иных новинках техники, изобретениях, интересных людях. Увы, не всегда то, что пропагандировалось на экране, существовало. Не знаю, какие меры предпринимались по поводу «кинолипы», но просмотр фильмов на какой-то срок прекращался.

Во время московских гастролей Киевского театра оперы актеры бывали на даче у Никиты Сергеевича. Вместе с ними он пел народные русские и украинские песни. Шло своеобразное музыкальное соревнование (голоса у Хрущева не было) на знание песен редких, фольклорных. К чести украинских певцов, они почти всегда подхватывали слова самых «забытых» песен и припевок. Хрущев родился в курской деревне, долго ходил в подпасках, много, конечно, слышал в детстве южных русских народных напевов, рядом лежали украинские села, и живой обмен культурным наследием был налажен хорошо. Любила петь и его мать, Ксения Ивановна; на деревенский лад она говорила не «петь», а «кричать песню».

Перебирая сейчас в памяти черты характера Никиты Сергеевича, думая о том, что больше всего он ценил в людях, прихожу к выводу — деловитость, профессионализм, трудовое достоинство. Хрущев уважал тех, кто энергично строит жизнь, не без гордости вспоминал, что в лучшие свои рабочие годы в Донбассе получал 30 рублей золотом. Слесарь должен был обладать высокой квалификацией, чтобы его труд так высоко оплачивали. Однажды исполнилась мечта молодого Хрущева. Он подкопил денег на покупку пальто. Приехал в Юзовку, пришел в магазин. «Подскочил приказчик, — рассказывал Никита Сергеевич, — спрашивает: «Чего изволите?» Я ему про пальто, он тут же достает, поглаживает один рукав, другой. «Какое желаете, правое или левое?» Я пощупал материал, поколебался и ткнул пальцем — правое. Продавец посмеивается. Оказалось, рукава от одного пальто». Хрущев не раз приводил этот пример на разных совещаниях, когда речь шла о торговле, заканчивал обычно нравоучительной сентенцией: «Вот так умели торговать дореволюционные приказчики. Наш советский продавец не будет морочить голову покупателю, он ему говорит: сам выбирай».

Хрущев не был призван на военную службу в годы первой мировой войны, шахтеров в армию не брали. Жизнь в Донбассе становилась все тяжелее, вспыхивали забастовки, появились в шахтерских поселках казачьи сотни. К этому времени Хрущев уже определил свои позиции, стал большевиком. Ушел сражаться с белыми. В годы гражданской войны он был комиссаром при политотделе 9-й армии на Южном фронте.

Помню, во время визита Никиты Сергеевича в Соединенные Штаты Америки на приеме в Лос-Анджелесе среди хозяев оказался сын купца из Ростова-на-Дону. В гражданскую семью купца вышвырнули из этого города как раз те части, где служил Никита Сергеевич, и она оказалась в Америке. Когда это выяснилось, произошла некоторая заминка, а затем Хрущев, забыв о «протокольных приличиях», заявил, что не желает ни есть, ни пить рядом с «контрой», что он приехал встречаться с настоящими американцами, а не с беляками. Сына «беляка» куда-то оттеснили, рядом с Никитой Сергеевичем посадили «настоящего американца». Инцидент дипломатично замяли. Хрущев нисколько не жалел о сказанном. Немало было случаев, когда Никита Сергеевич эпатировал общественное мнение, но люди, видевшие его в таких обстоятельствах, замечали, что за кажущейся несдержанностью проглядывал тонкий, а иногда и лукавый расчет.

Бог знает, каких только «штрихов к портрету» Хрущева не дорисовывают иные люди! Я прежде всего смотрю на год выпуска таких свидетельств — это многое объясняет. Хрущев, естественно, не был ни ангелом, ни холодным человеком и политиком, не прятал взрывной сущности натуры. Особенно его раздражало вранье, пренебрежение делом и тем более притупление идеологической бдительности, как он ее понимал. Тут он бывал резким, и, случалось, никакие аргументы не могли заставить его изменить оценку человека или решение.

Теперь часто отыскиваются примеры ошибок Хрущева, его необъективности и даже самоотрицания в подходах к тому принципиальному развитию событий, которое нарастало в обществе благодаря его стараниям. Но что было, то было. Хрущеву не раз говорили, что Владимир Дудинцев в романе «Не хлебом единым» написал как раз о тех негативных явлениях, которые он, Хрущев, критикует, — это не изменило отрицательного отношения к книге. Непостижимо! Когда скульптор Эрнст Неизвестный задумывал памятник Н. С. Хрущеву на Новодевичьем кладбище, он соединил в нем белый и черный камень. Ломаная черно-белая линия надгробия — зримое подтверждение того, что в этом сплетении есть правда о любом человеке, кроме разве что Христа.

Известно, что провозглашение истин — занятие более легкое, чем их поиск. Хрущев любил рассказывать анекдот о споре двух военных — полковника и генерала. Когда полковник, как говорится, припер генерала к стенке и у того иссякли все аргументы для возражений, он сделал шаг вперед и гаркнул: «Полковник, не забывайтесь!»

Каждому, думаю, приходилось оказываться в положении либо полковника, либо генерала. В грубом варианте эту ситуацию выражают так: «Я начальник — ты дурак; ты начальник — я дурак».

Мы долго отучивались от демократичного сопоставления точек зрения. Трубим или помалкиваем. Заметьте, чем выше уровень обсуждающих ту или иную проблему, чем выше положение тех, кто участвует в этом обсуждении, тем реже и глуше звучит неординарное мнение. Я разговорился на эту тему с Никитой Сергеевичем, когда он был уже на пенсии. Спросил, считает ли он нормальным, что на сессиях Верховных Советов, на партийных съездах никто никому не возражает, не вспыхивают споры, полемика. Разве то или иное решение так уж бесспорно? Что случится, если оно будет принято не единогласно? И разве не честнее сказать о своем несогласии или особом мнении, чем создавать видимость единодушия?

Хрущев долго молчал. Мы успели пройти почти километр по дорожке, а он не отвечал. Подумалось, что не хочет продолжения разговора, и я не стал повторять вопрос. И вдруг Никита Сергеевич сказал: «Партия у нас уже старая, многое в ней сложилось накрепко, не сдвинешь...».

А вот ведь сдвинулось. Мне кажется, Хрущева порадовали бы революционные перемены, которые во все большей мере определяют нашу жизнь. Мы отыскиваем истину в сложнейших вопросах идеологического, экономического, хозяйственного строительства, не боясь разных подходов. Уходит в прошлое генеральское «Не забывайтесь!»

Весна 1953 года была холодной, оттепели еще не согнали снег с подмосковных полей, в лесу лежали не тронутые солнцем сугробы. Жена с сыном жили на даче Хрущева. Рада вставала ранним утром и обычно спрашивала у домашней работницы, когда вернулся отец, стоит ли ждать его к завтраку. Оказалось, что в тот день Никита Сергеевич приехал после 12 ночи, но через два часа его вызвали снова, и он еще не вернулся. Всякое тогда приходило на ум при таких внезапных отъездах. На следующее утро радио принесло страшную весть.

В правительственном сообщении говорилось о болезни Председателя Совета Министров Союза ССР и Секретаря Центрального Комитета КПСС товарища Иосифа Виссарионовича Сталина. В среду, 4 марта, это сообщение было опубликовано.

«Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза и Совет Министров Союза ССР сообщают о постигшем нашу партию и наш народ несчастье — тяжелой болезни товарища И. В. Сталина.

В ночь на 2 марта у товарища Сталина, когда он находился в Москве в своей квартире, произошло кровоизлияние в мозг, захватившее важные для жизни области мозга. Товарищ Сталин потерял сознание. Развился паралич правой руки и ноги. Наступила потеря речи. Появились тяжелые нарушения деятельности сердца и дыхания».

Бюллетени о состоянии здоровья Сталина публиковались до 16 часов 5 марта. На следующий день первые полосы газет вышли в траурном обрамлении. Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза, Совет Министров Союза ССР и Президиум Верховного Совета СССР известили, что 5 марта в 9 часов 50 минут вечера после тяжелой болезни скончался Председатель Совета Министров Союза ССР и Секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин.

Тут же печаталось медицинское заключение о болезни и смерти И. В. Сталина, сообщение комиссии по организации похорон. Гроб с телом Сталина установили в Колонном зале Дома союзов. Председателем комиссии по организации похорон назначили Хрущева Н. С., в нее вошли Каганович Л. М., Шверник Н. М., Василевский А. М., Пегов Н. М., Артемьев П. А., Яснов М. А.

Хрущев возглавил комиссию по похоронам, но это вовсе не означало, что ему предстоит автоматически занять первый пост в партии. Гроб у изголовья несли Маленков и Берия. На траурном митинге выступали Маленков, Молотов и Берия. Все эти протокольные тонкости говорили о расстановке сил. Явно обозначился триумвират — Маленков, Берия, Молотов.

В день похорон, 9 марта, на мраморном фронтоне Мавзолея появилось еще одно имя: Сталин.

Медленно уходил траур. Дело было даже не в том, что боль утраты разделили миллионы людей. Определяло атмосферу всеобщее беспокойство, чувство незащищенности, своего рода сиротства. Для большинства с именем Сталина связывалось особое место нашего государства на мировой арене, уверенность в преодолении трудностей, препятствий, бед. «Он все сможет, найдет единственно верное решение». Так привыкли считать, так думали, таким утвердился феномен этой личности — выше бога, ближе отца и матери, единственный в своем роде.

Он лежал в Мавзолее, и в один из первых дней, когда открылось посещение, сотрудники «Комсомольской правды» прошли притемненными ходами к двум застекленным гробам, стоявшим почти рядом. Звезды на погонах отражались в массивных прозрачных стеклах, от чего саркофаг Сталина был более заметным, как бы притенил тот, в котором лежал Ленин. Это сложное, остро кольнувшее меня ощущение тут же ушло, но потом вновь вернулось...

Смерть Сталина не могла не поставить перед его преемниками вопроса о том, как жить и действовать дальше. Никита Сергеевич вспоминал, что в последние годы (а может быть, месяцы жизни) Сталин говаривал: «Останетесь без меня — погибнете... Вот Ленин написал завещание и перессорил нас всех». Почему Хрущев вспомнил эти слова, что стояло за ними? Предупреждал ли кого-то Сталин или в какие-то минуты реальнее представлял истинное положение дел в стране и, оглядывая свой жизненный путь, в чем-то раскаивался... В отчуждении к детям, в том, что после самоубийства жены он не пощадил даже тех ее родственников, к которым когда-то питал симпатию. Отчего он говорил: «Погибнете»?

Любые размышления тут могут строиться лишь на догадках. Многое в жизни Сталина было окружено тайной.

Все дни траура мы практически не уходили из «Комсомольской правды». Звонили нашим авторам, просили написать посмертные стихи или заметку в газету, готовили подборки писем. Траурные дни слились в один бесконечный, без отсчета времени. По очереди мы пробивались ко входу в Колонный зал и брали там интервью. Запах миллиарда цветов, принесенных к гробу Сталина, наполнял сырой весенний воздух. Даже теперь, через десятилетия, когда прохожу возле Дома союзов, он нет-нет да и возвращается вновь, запах тех цветов.

Земные заботы отодвинули печаль. Надо было печь хлеб, водить поезда, выпускать газеты. Через месяц после кончины вождя, точнее 3 апреля 1953 года, в редакцию поступило известие, о котором мгновенно заговорили. Когда газета ушла в киоски, сообщение это стало обсуждаться всюду и всеми.

«Оттуда» нельзя было передать никакого указания. Гнев мертвых не пугает живых.

Врачи, которых всего несколько месяцев назад, в январе, объявили шпионами и убийцами, оказались невиновны. «Комсомолка» гудела от голосов посетителей — читателей, авторов, тех, кто всегда спешит в газету, к истоку новостей. И всех волновало не только само это потрясающее сообщение, но и то, что с непременной логикой из него вытекало: Тимашук — недееспособная авантюристка и доносчица. Но ведь ее «разоблачения» кому-то были нужны? Она была награждена орденом Ленина «за помощь, оказанную правительству». Теперь справедливость восторжествовала. Люди радовались за незнакомых медиков, радовались тому, что это освобождало от страха и подозрительности, жизнь представлялась лучше, чище, чем всего двенадцать недель назад. Однако отмена ложных обвинений воспринималась куда шире и значительнее. За фактом признания ошибки стояла тяжелая, стыдная, но правда!

Арест организаторов провокации с врачами обсуждался не с мстительным злорадством, а как справедливое возмездие. Однако в общественном сознании не могли не возникать все новые и новые вопросы. Помнили Ягоду и Ежова, множество их «сподвижников». И прежде их арестовывали, судили и казнили. По-своему несчастные, эти люди — палачи и жерт-

вы, — сделав свое черное дело, исчезали, чтобы дать место другим. Сколько раз это могло повторяться? Ведь не только мы, газетчики, прятали глаза от стыда: сегодня писали одно, а завтра другое, но и миллионы людей, которых сзывали на митинги клеймить и негодовать.

В марте в Москву вернулся Г. К. Жуков. Его назначили первым заместителем Министра обороны (Министром был Н. А. Булганин). С 1946 года Жуков по приказу Сталина командовал войсками Одесского, а затем Уральского военных округов. Возвращение Жукова из Свердловска тоже кое-что значило. Георгий Константинович сразу же добился реабилитации группы военных, арестованных уже после войны. В Москву вернулись маршалы авиации А. А. Новиков и Г. А. Ворожейкин, адмиралы В. А. Алфузов и Г. А. Степанов. Они, конечно, не молчали. Бывший секретарь ЦК ВЛКСМ Мильчаков, отсидев полный срок в лагерях, добился встречи с Никитой Сергеевичем. Становились известны страшные подробности произвола...

Моя жена дружила с Аллой Кузнецовой, женой Серго, сына Анастаса Ивановича Микояна. Умная, мягкая, сдержанная молодая женщина тяжело переживала арест своего отца, а затем матери, Зинаиды Дмитриевны. Кузнецов был репрессирован в 1949 году по так называемому «ленинградскому делу». Во время войны Алексей Александрович и его семья все 900 дней блокады были в Ленинграде.

Однажды Рада решилась спросить у Никиты Сергеевича о судьбе Кузнецова. Он промолчал. Через несколько дней, гуляя с ней в лесу, сказал коротко: «Передай Алле, что Алексея Александровича нет в живых».

Вся семья Микояна — он сам, его жена Ашхен Лазаревна, братья Серго с удивительным тактом, подчеркнутым вниманием относились к семье Кузнецова, помогали Алле, ее сестрам и брату, когда были арестованы родители. Они делали это, не таясь, хотя знали, что ведут себя рискованно. Многие, увы, отказывались и от более близких родственников, а случалось, от отцов и матерей.

Алла Кузнецова долго и тяжело болела — сказывались блокадные дни. Она умерла 6 ноября 1957 года. Вернувшаяся за год до этого из ссылки Зинаида Дмитриевна на много лет пережила старшую дочь.

Неожиданно в газету хлынул поток писем о появлении во многих городах и областях страны банд уголовников, рецидивистов. Люди боялись выходить из дому, требовали усилить патрулирование ночных улиц и парков. После смерти Сталина прошла амнистия. Со странной поспешностью прощение даровали отпетым, потерявшим человеческий облик преступникам. Чуть позже стало понятным, что на самом деле скрывалось за сим «актом милосердия»...

В июле 1953 года я был далеко от дома, в Шанхае, — комсомольская делегация участвовала в работе съезда Народно-Демократического Союза молодежи Китая, а затем поехала по стране. В ту пору наши отношения ничем не были омрачены. Песня «Москва — Пекин» звучала повсюду с неподдельным энтузиазмом. Последняя ночь в Шанхае выдалась тревожной. Нас разбудил настойчивый стук в дверь. Сбивчиво, как бы с извинениями, хозяева сообщили о передаче японского радио: танки на улицах Москвы, идут аресты, говорят, что убит в перестрелке Берия. Утром мы связались с советским посольством в Пекине. Посол Василий Васильевич Кузнецов успокоил, сказал, что поездку по стране надо продолжать и что при встрече даст разъяснения. В тот же день румынские друзья, наводившие справки в своем посольстве, сообщили, что об отмене Бухарестского фестиваля молодежи и студентов речи нет, он состоится вовремя, в августе. Уже в Шанхае нам стало известно, что Берия арестован и что танки действительно стояли на некоторых улицах и площадях Москвы. О том, как и что происходило, я узнал, только вернувшись из Китая...

Несколько раз я видел Берия вблизи. Слышал его выступление на торжественном заседании, посвященном 35-й годовщине Октябрьской революции. Говорил он хорошо, почти без акцента, четко и властно. Умело держал паузы, вскидывал голову, дожидаясь аплодисментов. Доклад его составили нестандартно.

Внешне Берия — располневший, с одутловатым, обрюзгшим лицом — был похож на рядового «совслужащего» тридцатых годов. Шляпа обвислыми полями налезала на уши, плащ или пальто сидели на нем мешковато. Однако внешность обманчива. За мягкими складками одежды и телесного жира скрывалась натура беспринципная, хитрая и безжалостная. Берия боялись все, и было отчего. Случилось в ту пору в моей жизни несколько странных событий, значение которых я понял позже. Моя мать шила платья жене Берия. Нина Тимуразовна — агрохимик, кандидат наук, ценила деловитость матери, отсутствие навязчивой услужливости. Как-то Нина Тимуразовна обронила с ноткой сожаления: «Зачем Алеша вошел в семью Хрущева?» Мать, конечно, расстроилась, передала разговор. Мы только что поженились и были, конечно, обескуражены, тем более что из МГБ передали анонимку, — в ней обывательски описывалась наша с Радой «болтовня» по поводу «красивой жизни» в семье Никиты Сергеевича. Он дал нам прочесть анонимку, но не комментировал ее.

Два наших приятеля-однокурсника были однажды на даче Хрущева. Казалось диким, но сочинить эту несусветную чепуху могли вроде бы только они. В анонимке приводились подробности обстановки, детали семейных взаимоотношений, о которых никто другой знать не мог. Через много лет Никита Сергеевич рассказал, каким образом эта анонимка попала в папку «семья Хрущева». Мы с матерью тогда жили в коммунальной квартире. К нашей соседке, муж которой был арестован в 1937 году, пришел некий гражданин. Он и продиктовал донос, предупредив, чтобы женщина не болтала, если не хочет разделить судьбу мужа.

«Под колпаком» были не только квартиры, дома и семьи высших руководителей партии, правительства, вообще всех, кто интересовал Берия, но и служебные кабинеты. Однажды ночью в приемной МК партии появились высокие чины и потребовали от дежурившего там секретаря В. Пивоварова ключи от кабинета Хрущева. На вопрос, с какой целью, грубо ответили, что необходимо проконтролировать надежность сейфов и телефонных аппаратов, добавив, что секретарь не имеет права интересоваться подробностями их обязанностей — не его дело. Пивоваров наотрез отказался пустить ночных посетителей в кабинет, пригрозил вызвать хозяина. И хотя на него обрушился поток ругани, кабинет он не открыл.

Удивительное дело, но ночное происшествие не имело последствий. Пивоваров доложил о нем Хрущеву, а тот, видимо, решил смолчать.

Именно в это время Берия стремился сблизиться с Хрущевым, завоевать его расположение. Случалось, поздней ночью поджидал его на шоссе по дороге на дачу, чтобы побеседовать. Если я возвращался с ночного дежурства в газете вместе с Никитой Сергеевичем, то приходилось пересаживаться в машину грозного человека. Усатый шофер даже головы не поворачивал в мою сторону. Сидел неподвижно, как сфинкс, и казалось, машина движется сама по себе. Пассажиры первой машины беседовали. Мне оставалось разглядывать стволы берез, мелькавших по обочинам Успенского шоссе. Березовые рощи в том районе Подмосковья — такие фотогеничные, их много раз снимали в разных фильмах... Однажды я не выдержал и спросил шофера, можно ли закурить. Он не удостоил меня ответом, но как-то выразил запрещение. Может быть, движением офицерского погона с майорской звездочкой? И в самом деле, грешно было курить в автомобиле, пахнувшем свежей кожей.

По рассказам Хрущева, в дни, когда мучительно умирал Сталин, Берия перестал сдерживать свои истинные чувства. Злобно ругал Сталина, никого не стесняясь, а когда тот на миг приходил в сознание, бросался к нему, целовал руки, лебезил. Едва наступил конец, Берия, не подойдя даже к плачущей дочери умершего, тут же умчался из Волынского, чтобы первым оповестить друзей и приспешников. «Я сказал тогда Булганину, — говорил Никита Сергеевич, — как только Берия дорвется до власти, он истребит всех нас, он все начнет по новому кругу...»

Берия уже давно заигрывал с теми, кого считал нужным нейтрализовать, усыплял бдительность тех, кто относился настороженно к его амбициям, ставил на руководящие должности в органах внутренних дел своих людей, начал вмешиваться в дела обкомов партии, покрикивать на тех секретарей, которые требовали указаний ЦК и не хотели подчиняться рас-

поряжениям бериевского аппарата. Первый секретарь Львовского обкома партии Зиновий Тимофеевич Сердюк доложил Хрущеву, что в ответ на его, Сердюка, возражения Берия крикнул в телефонную трубку: «Да я тебя в лагерную пыль сотру!»

Хитрый ход придумал Берия с амнистией после смерти Сталина. Она касалась больших групп заключенных. Берия беспокоило, что он уже не властен автоматически продлевать сроки заключения тем, кто был отправлен в лагеря в годы массовых репрессий и свое отбыл. Они возвращались по домам и требовали восстановления справедливости. А Берия было крайне необходимо вновь отправить в ссылку неугодных, задержать оставшихся там. Тогда-то и начали выпускать уголовников и рецидивистов. Они тут же принялись за старое. Недовольство и нестабильность могли дать Берия шанс вернуться к старым методам.

Нина Петровна как-то рассказывала о поездке Хрущева летом 1952 года на Кавказ. Отдыхал там и Берия. Он, конечно, приехал к Хрущеву. Пригласил посмотреть Абхазию. Поднялись на перевал, устроили завтрак на смотровой площадке неподалеку от Сухуми. Синее море, золотая долина внизу. Берия раскинул руки и проговорил: «Какой простор, Никита. Давайте построим здесь наши дома, будем дышать горным воздухом, проживем сто лет, как старики в этой долине». Никита Сергеевич спросил: «А стариков куда денем?» Спросил как бы вскользь, без упрека. Берия тут же, не задумываясь, ответил: «А переселим куда-нибудь...».

Проверял ли Берия настроения Хрущева? Или хотел в свой срок обвинить в безнравственности, настроить против него абхазцев? Нина Петровна рассказывала, что Никита Сергеевич вернулся домой взбешенный.

На чем основано мое убеждение в том, что именно Хрущев принял твердое решение обезвредить Берия, не дать ему возможности захватить власть? Не только на рассказах самого Никиты Сергеевича, который, когда эти тревожные недели миновали, не раз вспоминал, что и как происходило, хотя это и важное свидетельство. Не могли не видеть близкие, что перед самым арестом Берия Никита Сергеевич вдруг появлялся на даче в разгар рабочего дня, и к нему в разные часы приезжали Молотов, Ворошилов, Маленков, Булганин, Микоян. Обычно Никита Сергеевич надолго уходил с приехавшим товарищем к реке.

Рассказывал Хрущев и о реакции на его предложение. Все высказывались за арест. Важно было, что согласились Маленков и Молотов, позиция первого беспокоила Никиту Сергеевича. За многие годы Маленков и Берия притерлись друг к другу. Но Маленков был тверд, сказал, что объявит на заседании Президиума ЦК об аресте Берия. Никита Сергеевич вспоминал, что, когда он начал разговор с Ворошиловым, тот поначалу стал расхваливать Берия. Когда же выслушал Никиту Сергеевича, расплакался. Он считал Хрущева чуть ли не другом Берия, видел, как тот обхаживает Никиту Сергеевича, и просто боялся за себя. Ворошилов готов был сам арестовать этого авантюриста.

Есть еще одно обстоятельство, которое важно своими последствиями. Хрущев после смерти Сталина не был избран Первым секретарем ЦК. Как член Президиума ЦК Хрущев возглавлял работу секретариата, однако в центре политического руководства страной стояли Маленков, Берия, Молотов. Они возглавляли и Совет Министров СССР.

К кому стремились старые коммунисты, большевики-ленинцы, вырвавшиеся из ссылок? Где, у кого рассчитывали найти понимание, поддержку, а главное, опору в своих убеждениях? У Маленкова, Молотова, которые работали рядом с Берия? Люди все же пробивались в ЦК. Они не связывали сталинские преступления 30-х годов с именем Хрущева. Он не запятнал себя личным участием в массовых репрессиях. Так в ЦК сосредоточивались чрезвычайно важные сведения, и Хрущев из первых уст узнавал подробности гибели многих коммунистов, в том числе и многих товарищей, которых знал лично.

Он понимал, конечно, что может его ожидать. Необходимо было проявить максимум выдержки до самого последнего момента. Осведомители Берия могли проникнуть всюду. Хрущев пошел на более рискованный шаг. Еще по Украине он знал Серова, заместителя Берия. Видимо,

объяснился и с ним. Серов сдержал слово и оказал твердую помощь. Оставляю в стороне мотивы, по которым он это делал, во всяком случае, какая-то часть операции была им выполнена.

Существенное состояло в том, что Никита Сергеевич получил полную поддержку маршала Жукова и генерала армии Москаленко. Именно они вошли в Кремлевский зал заседаний Президиума ЦК и объявили Берия, что он арестован. Этот акт был лишь финалом той предупредительной работы, которую провели военные.

Не только личную смелость проявили в те дни Хрущев и другие. За этим рубежным для нашей истории поворотом стояла воля Центрального Комитета партии.

Состоявшийся затем Пленум ЦК вывел Берия из своего состава, исключил из партии. Лишенный наград и званий, он стал подследственным.

Каких только небылиц не рассеяла по миру буржуазная пресса! Утверждалось, что «Берия убит без суда и следствия прямо в автомобиле».

В те же дни наши газеты сообщили об образовании Специального Судебного Присутствия Верховного Суда СССР в составе Председательствующего — Маршала Советского Союза И. С. Конева, и членов — Председателя Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов Н. М. Шверника, первого заместителя Председателя Верховного Суда СССР Е. Л. Зейдина, генерала армии К. С. Москаленко, секретаря Московского областного комитета КПСС Н. А. Михайлова, Председателя Совета профессиональных союзов Грузии М. И. Кучава, председателя Московского городского суда Л. А. Громова, первого заместителя министра внутренних дел СССР К. Ф. Лунева.

Следствие продолжалось несколько месяцев. Судебный процесс проходил при закрытых дверях.

Руки Берия обагрены кровью тысяч невинных. В Азербайджане и Грузии он планомерно уничтожал всех, кто так или иначе мог знать о его связях с мусаватистской разведкой — дочерней организацией английской разведки, а заодно и многих других людей. Перебравшись в Москву, сначала в качестве заместителя Ежова, а затем и полновластного хозяина НКВД, он стал рьяным исполнителем и организатором массовых репрессий 1937 — 1939 и всех последующих годов.

В конце декабря Специальное Судебное Присутствие Верховного Суда СССР, изучив представленные Прокуратурой СССР материалы и заслушав обвиняемых, приговорило Берия Л. П. как врага народа и партии и шесть его главных подручных к высшей мере наказания — расстрелу. 23 декабря 1953 года приговор был приведен в исполнение. Берия успел отправить письмо в ЦК Хрущеву. Он просил о пощаде, просил дать возможность искупить вину в каких угодно каторжных условиях...

Наступит когда-нибудь время, и суд над Берия, десятки томов дела будут преданы огласке.

Год 1953-й шел к концу. В сентябре состоялся Пленум ЦК партии, который проанализировал состояние дел в сельском хозяйстве. Хотя на XIX съезде партии проблема зерна была объявлена решенной, закупки зерна не покрывали потребностей страны, в особенности это сказывалось на развитии животноводства. С 1940 по 1952 год промышленная продукция выросла в 2 — 3 раза, а валовая в сельском хозяйстве — всего на 10 процентов. В докладе Хрущева отмечалось, что рост производства зерна сдерживается отходом от принципа материальной заинтересованности — коренного положения социалистического хозяйствования. Хрущев напомнил важную мысль Владимира Ильича Ленина о том, что для перехода к коммунизму потребуется долгий ряд лет и что в этот период перехода хозяйство нужно строить «не на энтузиазме непосредственно, а при помощи энтузиазма, рожденного великой революцией, на личном интересе, личной заинтересованности, на хозяйственном расчете» [1].

---

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, том 33, стр. 36.

Сентябрьский Пленум ЦК занял важное место в истории нашей партии. Хрущев был избран Первым секретарем. Это свидетельствовало не только о росте его личного влияния, но и об активизации, усилении роли партии в жизни страны.

В январе 1954 года Хрущев в записке в Президиум ЦК КПСС назвал цифры хлебных ресурсов. На конец 1953 года хлеба было заготовлено не только меньше, чем в 1951 и 1952 годах, но и меньше, чем в 1940-м, а расход его увеличился более чем в полтора раза. Без необходимого количества хлеба невозможно было думать о дальнейшем успешном развитии всего народного хозяйства. Зерновая проблема обозначилась под № 1. В записке обосновывалось предложение взять хлеб на целинных и залежных землях Казахстана, Сибири и ряда других районов. Так впервые в политическом документе появилось слово «целина».

Экономический поворот, который страна начинала в ту пору, не мог не привести к переменам в журналистике. Главное в нашей жизни — дорога. Знаю по собственному опы и по опыту моих товарищей. Самые непоседливые репортеры проводят командировках по сто дней в году, — из самолета в самолет, из поезда в поезд. В наши дни комфорт выше, а в пятидесятых годах, когда еще не было аэропортов в Домодедове и Шереметьеве, брони на гостиницы, да и гостиницы чаще оказывались «домами для приезжих», — жизнь и труд журналиста проходили в нелегких условиях. Но главная беда — не бытовые проблемы, а запреты.

Смешно и грустно вспоминать, но нам не всегда удавалось «пробить» на газетную полосу даже заметку о пожаре, наводнении, не говоря уже о более существенных происшествиях. По газетам выходило, что не случались у нас железнодорожные и авиационные катастрофы, не тонули пароходы, не было взрывов на шахтах, автомобили не наезжали на пешеходов, снежные лавины не обрушивались на горные села, а селевые потоки не угрожали городам.

Да что там начало или середина пятидесятых — даже в шестидесятых публикации о катастрофах не поощрялись. Уже работая в «Известиях», в какой-то день я узнал от сотрудников, что под Москвой столкнулись электричка и товарный состав. Какие только слухи не передавались на ухо. 200 убитых! 300! В Министерстве путей сообщения подтвердили, что столкновение было, погибли два человека. Редакция направила на место происшествия репортера, он все уточнил, но заметка так и не появилась в газете. Публиковать ее без разрешения МПС мы не имели права, а там заявили примерно следующее: «Ни к чему! Кто знает — тот знает, кто не знает, — не узнает. Вы напишете, что погибли два человека, а все именно поэтому и будут считать, что жертв куда больше». Высокопоставленный путеец знал, что газетные строки многие привыкли расшифровывать по-своему. Если мы писали, что фильм дрянной, на него выстраивались очереди, и наоборот.

Картинки такой идеальной жизни создавались неспроста. В том числе и на газетных полосах. Бесконфликтные ситуации были удобны. Во-первых, потому, что люди, дескать, работали с большим оптимизмом, а, во-вторых, безгрешными, сильными, умными оказывались те, кого «табу» на правду спасало от критики.

Приходилось переучиваться и нам. Однако не все обновляется так быстро, как хотелось бы. И не так заметно глазу. Есть у Алексея Максимовича Горького очерк о бризантном взрыве. Горький приехал на Днепр в тот день, когда там предстояло ликвидировать каменистые пороги, мешавшие строительству электростанции и судоходству. Молоденький инженер предупредил писателя, чтобы тот внимательно смотрел на реку, потому что сейчас скальные зубья уйдут под воду и Днепр перестанет клокотать и пениться. Горький ждал, что услышит взрыв, увидит, как взлетят в воздух камни и фонтаны брызг, но ничего такого не произошло. Что-то глухо ухнуло, волна сделала последний крутой поворот и, успокоившись, слилась с плавным движением вод. Прибежал радостный, взволнованный инженер, спросил: «Ну как?», — а Горький, недоумевая, ответил, что впечатлений никаких, поскольку он, собственно, ничего и не заметил.

Инженер объяснил, что весь секрет в бризантном взрыве. Взрывчатка закладывается под самый корень скал, к тому ложу, на котором они покоятся. Это позволяет избежать лишней траты энергии, и хоть внешне неэффектно, зато надежно — разом ликвидируется все, что мешает делу. Горький тогда подумал: вот если бы и в общественных отношениях можно было очистить жизнь от всей дряни, всех наростов таким вот бризантным взрывом, как было бы прекрасно.

Шел 1957 год. Страницы «Комсомолки» становились живее и человечнее, завязывались дискуссии, шире использовали письма, и, пожалуй, мы первыми начали публиковать острые очерки на морально-этические, нравственные темы. Читатели старших поколений до сих пор вспоминают фельетон Ильи Шатуновского «Плесень». В нем шла речь о двойной жизни, двойной морали, словах и их сущности.

В Доме работников искусств состоялось обсуждение фельетона и разгорелись такие страсти, что кое-кто из ответственных товарищей готов был обвинить выступающих чуть ли не в посягательстве на «основы». Поразительно живуча эта охранительная бдительность, стремление свернуть мысль, довольствоваться молчанием. Позже, в 1958 году, когда открыли памятник Маяковскому и там стала собираться молодежь, читали стихи, первым поползновением тоже было запретить, вызвать милицию. Забыли, как Маяковский любил диспуты, как выходил в них победителем. В идейной борьбе надо побеждать не окриком, а аргументом.

Мы в газете, не без ошибок и споров, учились демократии. Это было нелегко по многим причинам. Наше поколение воспитывалось на указаниях. За их черту, если того требовало дело, надо было выходить во всеоружии. А мы мало что знали о «Комсомолке» первых лет ее существования, газета боевых тридцатых жила только в памяти немногих уцелевших, жила в преданиях. Мы не могли опереться на опыт старших товарищей.

Репрессий конца тридцатых годов не избежали комсомольские кадры и журналисты молодежной прессы. Еще до ареста в 1938 году Генерального секретаря ЦК ВЛКСМ Александра Косарева (он был расстрелян в феврале 1939-го) забрали его друга, Николая Бубекина, главного редактора «Комсомольской правды». Когда я стал главным в «Комсомолке», то занял кабинет Бубекина. За спиной у меня едва различалась дверца в панели, и я нет-нет да и «проигрывал» в воображении тот день, когда Бубекин исчез из редакции.

Здание комбината издательства «Правда», в котором и сегодня размещается редакция «Комсомольской правды», было построено по проекту архитектора П. А. Голосова. В торцовой части всех этажей маленькие лифты выходили прямо в кабинеты сотрудников. Никто этими лифтами никогда не пользовался, многие даже не знали о их существовании. В кабинете Бубекина ореховые панели и вовсе скрыли дверцу. В один из вечеров секретарь главного Дуся Михеева (она потом работала в этой должности при других редакторах) понесла на подпись Бубекину очередную готовую полосу (завизированную газетную полосу отправляли в цех на матрицирование); в кабинете его не оказалось. Искали повсюду, но тщетно. Началась паника — некому было подписать номер в печать. Михеева утверждала, что ни на минуту не отлучалась, что главный из кабинета не выходил. Дежурные звонили по разным телефонам, но тут раздалось позванивание «большого» аппарата на столе главного. Было сообщено: «Не ищите Бубекина, он у нас». В кабинет к нему вошли из неприметного лифта.

«У них» был не только Бубекин, а почти вся редколлегия «Комсомолки», многие прекрасные репортеры. Только в середине пятидесятых очистились их имена, начал возвращаться их опыт. Еще очень медленно...

Естественно, что мы хотели знать, как строилась жизнь наших товарищей, хотели узнать о многом. Какая цена и за что заплачена, в чем объективные трудности, а где иного порядка. Это — желание каждого мыслящего человека, если он всерьез считает себя ответственным за общее дело. Недомолвки и умолчания опасны, по крайней мере, по двум причинам: они освобождают от ответственности (в том числе исторической) и приводят к прежним заблуждениям и ошибкам. Повторять ошибки, на-

тыкаться на «горячее» и не помнить об этом простительно только детям.

Разве может позволить себе сапер написать: «По-видимому, мин нет?» Это абсурд. Но почему не абсурдным кажется утаивать что-то в явлениях и процессах, где неосторожный, неосмотрительный шаг не менее страшен, чем на заминированном поле? Когда Сталин выстраивал свою концепцию строительства социализма, он отрезал прошлое, ибо оно не вписывалось в рамки принятых им политических, экономических и социальных взглядов. Почему надо непременно держаться этого правила?

Сегодня мы больше, чем когда-либо, понимаем, что любые действия любого человека не могут оцениваться вне свободного критического осмысления. Понимаем, как проигрывает общество, отдавая одному лицу право внеконтрольных решений. Коллективизм — основа нашей политики. А нам пока что остро не хватает культуры в осмыслении тех или иных политических событий, в том числе и по отношению к людям в политике.

Как уже говорилось, сентябрьский Пленум ЦК 1953 года остро поставил хлебную проблему. Газетчики знали, как на самом деле выглядят просторы колхозных полей. Знали, что во многих хозяйствах на трудодень ничего не выдавали и крестьяне сводили концы с концами изнурительным трудом на личных делянках. Хрущев не без горечи говорил, что когда летом 1950 года он объезжал подмосковные колхозы, то застал в одном из них 12 немощных старух, а назывался колхоз «Новая жизнь». Что же, Хрущев не знал этого раньше? Разве все мы не понимали, что до того благополучия, которое рисовалось усилиями многих, в том числе и газетчиков, ох как далеко? Помню, как в 1952 году потряс всех правдой и смелостью своих «Районных будней» Валентин Овечкин. Ведь в те годы написать такое решались не многие литераторы. Михаил Ульянов рассказывал, как тяжело выходил на экраны фильм «Председатель», а делали его уже после XXII съезда партии. Пугали авторов возможным наказанием. Увы, пугают еще и сегодня...

Кто? И зачем это нужно? Кому сладка неправда, ведь рано или поздно она обернется бедой.

Чаще всего это лицо неуловимое. Некто, субстанция. Не поймаешь на слове, не схватишь за руку. Это Инструкция, мнение, брезгливое выражение лица, поднятые вверх брови, росчерк карандаша. В такой «неуловимости» — главная сложность.

Я родился в Средней Азии, в Самарканде. В тридцатые годы, мальчишкой, узнал, что такое голод. Хлеба совсем не было. Рынок пустовал. Гонимые голодом, мы, мальчишки, убегали за город, ловили там черепах, тут же на кострах варили черепашьи яйца, смешивая желтки в консервных банках. Начались кишечные заболевания, милицейские кордоны опоясали город и возвращали ловцов черепах родителям под расписку.

Следы страшного опустошения видел я позже, когда перед войной работал в геологоразведочной экспедиции в Казахстане. Мы искали оловянную руду — касситерит в междуречье Иртыша и Ишима, колесили по бурой, выжженной степи на грузовичке в районах Аягуза, Кокчетава, Семипалатинска, возле районных центров Кара-аул, Баян-аул. Часто приходилось шурфовать русла пересохших речушек. Шурф — прямоугольник 80 на 125 сантиметров, и чем глубже удавалось зарыться в землю, тем больше было надежды наткнуться на породу, в которой прятались красные, похожие на вишневую косточку касситеритинки.

Берега речушек, на которых мы останавливались, ставили палатки, разводили костер, обезлюдели. Вдоль берегов на многих километрах встречались развалившиеся, превратившиеся в прах саманные дома аулов. Иногда мы проходили умершей улочкой. Вперемешку с костями животных лежали и человеческие кости. У людей, которые убегали от голода из этих краев, не хватало сил хоронить близких.

По вечерам, когда каждый, как кавалерист саблю, точил полукруг лопаты, мы, конечно, разговаривали. Валентин Иванович Пятнов, начальник экспедиции, помнил годы коллективизации на многих своих маршрутах, геологи ведь не сидят на одном месте. Но что мог он сказать нам, своим младшим товарищам, если и сегодня мы еще избегаем тщательного, спокойного анализа, сопоставления точных цифр, фактов...

А ведь главное — не в желании ворошить прошлое, а в том, чтобы великая страна успешнее решила современные сельскохозяйственные проблемы.

Совсем недавно мы узнали, что труды русского ученого-экономиста, знатока кооперации Александра Васильевича Чаянова издаются во многих странах, что его размышления об организации сельского труда принесли колоссальную пользу земледельцам Италии, Индии, Японии...

В 1987 году Чаянов и другие крупные ученые-экономисты были реабилитированы Верховным Судом СССР, с них снято обвинение в организации так называемой Трудовой Крестьянской партии (ТПК), а обвинение во вредительской, шпионской деятельности отменено решениями еще в 1956-м. В 1930 году «каленым железом» выжигали взгляды, не укладывающиеся в сталинскую схему сплошной коллективизации. Казнили блестящих людей и перечеркивали альтернативную точку зрения.

Старший из сыновей Александра Васильевича Чаянова, Никита, погиб в московском ополчении, младший, Василий Александрович, солдатом прошел фронт. После войны он многое сделал, чтобы доказать невиновность отца. Я думаю сейчас о таких сыновьях — Святославе Николаевиче Федорове, хирурге-офтальмологе; Юрии Николаевиче Вавилове, ученом-физике; Станиславе Яковлевиче Долецком, детском враче, ученом; Юрии Валентиновиче Трифонове, писателе. Малая часть знакомых мне людей... Федоров сказал как-то: «Если б не XX съезд, большинство таких, как я, оказалось бы на обочинах жизненных дорог...».

Пожалуй, наиболее ярко энтузиазм тех лет проявился в грандиозной эпопее освоения целинных земель. Хлеба стране недоставало и взять его надо было быстро. Просчитал ли Хрущев все иные варианты выхода из хлебного тупика, можно ли было поступить иначе — не берусь судить. Целинная эпопея получала в разные годы разные оценки. В середине шестидесятых годов я слышал высказывания о том, что целина — крупнейшая ошибка Хрущева наряду с созданием совнархозов, ликвидацией ряда министерств и изменением роли тех из них, которые остались. Потом, правда, целину «взял на себя» новый Генеральный секретарь, и критики приумолкли.

В феврале 1954 года Хрущев выступал перед комсомольцами Москвы и Московской области, уезжавшими на освоение целинных земель в Казахстане. С ними отправилась и целая бригада «Комсомолки». Мы писали об отчаянно трудном, не принесшем радости первом, неурожайном 1955 годе, о втором, когда уходили за горизонт необозримые золотые поля. Гордились, что очеркист «Комсомолки» Семен Гарбузов написал сценарий первого художественного фильма о целине.

Никита Сергеевич объезжал один за другим целинные совхозы. Азартная натура этого человека требовала личных впечатлений, встреч с людьми. Я часто слышал и его выступления на больших митингах, и беседы с молодыми целинниками у палаточных костров. Никогда не обещал он им благ в виде божественного ниспослания, не боялся говорить о тяжести труда, никого не обманывал на этот счет.

Тема хлеба — и шире пищи, продовольствия, продуктов, еды — звучала во всех многочисленных выступлениях Хрущева. Только в 1954—1955 годах он побывал в Сибири, на Дальнем Востоке и Сахалине, в Средней Азии, на Украине, в Саратове, Воронеже, Ленинграде и Ленинградской области, Риге, Курске, вновь в Средней Азии, я уж не говорю о проводимых им многочисленных совещаниях в Москве, о Пленумах ЦК, которые били в ту же цель: накормить страну.

Всю свою энергию, темперамент, цепкость он направил на достижение этой цели. Для политического деятеля это означало связать свой авторитет, влияние, в немалой степени и свое будущее с тем, что даст задуманное.

Тридцать миллионов поднятых, засеянных и принесших хлеб гектаров резко повысили государственные ресурсы. Уже через три года, к 1957-му, продовольственная проблема стала менее острой, практически исчез дефицит на многие продовольственные товары, и прежде всего на хлеб, молоко, мясо...

Молодые люди часто спрашивают, как возникают у нас лидеры в высших кругах власти. Как удалось добиться этого Хрущеву? Почему-то эти темы у нас не обсуждаются. Быть может, то, о чем я пишу, что-то прояснит.

В 1954 году Никите Сергеевичу исполнилось шестьдесят. Семейных торжеств он не признавал. С утра, как обычно, младшие отправились на занятия, старшие — на работу. Однако юбилей все же отпраздновали — явочным порядком. На даче собрались гости. Нельзя было не заметить, насколько хозяин стола отличался от них. Обветренный, загорелый, с седеньким венчиком волос по кругу мощного черепа, Хрущев походил на приезжего родственника, нарушившего чинный порядок застолья. В тот вечер он был в ударе, сыпал пословицами, поговорками, каламбурами, украинскими побасенками. Он чувствовал, конечно, что его простоватость коробит кое-кого из гостей, но это его нисколько не смущало. Цепкие глаза бегали по лицам собравшихся, и, казалось, в них, как в маленьких зеркальцах, отражалось все, что владело его вниманием. Без пиджака, в украинской рубахе со складками на рукавах (у него были короткие руки, как он говорил, специально для слесарной работы), Хрущев предлагал и другим снять пиджаки, но никто не захотел.

Гости сидели со снисходительными минами на лицах, не очень-то скрывая желание отправиться по домам, но встать из-за стола не решались. Было видно, что они принимают Хрущева неоднозначно, что вынуждены мириться с тем, что он попал в их круг, а не остался там, на Украине, где ему самому, по-видимому, жить и работать было легче и сподручнее. Эта несовместимость Никиты Сергеевича с гостями вызывала неловкость и даже тревогу. Нина Петровна сказала: «Давай отпустим гостей».

Когда все разъехались, Никита Сергеевич вышел на веранду и попросил включить магнитофон с записями птичьего пения. Он привез магнитофон из Киева, очень гордился тем, что киевские инженеры и рабочие сделали его надежным. Часто включал. Пение птиц записывал сам, устанавливая по вечерам тяжелый деревянный ящик в кустах, где гнездились соловьи и другие голосистые птахи.

Этот аппарат работал лет тридцать!

Магнитофон не единственное увлечение Никиты Сергеевича. Он настойчиво добивался выпуска электробритв, электронных часов (отдал на Московский Второй часовой завод свои, полученные от заезжего американца в подарок), соломенных шляп, зажигалок, хоть сам никогда не курил, а чуть позже — синтетических мехов. Демонстративно носил шапку из искусственного меха. У его коллег были такие же, но из меха натурального, и он в шутку тихонько менял свою на чужую. Хозяин обнаруживал это не сразу и, возвращая шапку, Никита Сергеевич радовался: «Видите, даже не заметили, что она искусственная».

Синтетика была под его особым контролем. Хрущев говорил, что без развития производства синтетических материалов вопрос с одеждой решить будет невозможно. Он стал активно принимать западных бизнесменов, заспешивших в Москву. Крупный итальянский промышленник, если не ошибаюсь, Маринотти (я бывал на его фирме в Риме), поставил нам первые заводы искусственных волокон. Так вошла в наш быт ткань «болонья».

Увлеченность всем новым, какая-то детская радость от того, что освоили выпуск магнитофонов, часов, бритв, свидетельствовали о постоянной жажде улучшать жизнь и быт людей не в глобальном, а скорее в конкретном, я бы даже сказал, предметном плане. Теперь многочисленные любители магнитофонов и обладатели электронных часов не знают, чьими стараниями начался их выпуск, но на Втором часовом заводе до сих пор работают люди, помнящие те электронные часы, переданные Хрущевым. Заместитель генерального директора Семен Борисович Ривкин, которому я как-то принес старые часы американской марки, сразу их узнал. «От этих часов, — сказал он, — пошло развитие нового направления в нашем производстве».

И было это, конечно, не так просто: отдал — сделали. Никита Сергеевич бушевал, если бритвы, часы, зажигалки быстро ломались, стыдил инженеров на совещаниях. Человек темпераментный, «взрывной», он ча-

сто не сдерживался. Напомню эпизод, о котором ходило немало толков — от умилительных: «Вот это да, знай наших» — до презрительных: «Подумайте, стучал ботинком по столу, да где, в Организации Объединенных Наций! Позор! Что подумали о нас?» Но ведь это не противоречило протокольному порядку заседания. Хохотали многие делегаты сессии ООН, а Генеральный секретарь Хаммаршельд не сделал Хрущеву замечания, хотя жестко контролировал соблюдение всех основных правил поведения в соответствии с Уставом.

Все началось, собственно, за день до памятного события. Предстояло обсуждение так называемого «венгерского вопроса». Во время завтрака в советской миссии Хрущеву сообщили о повестке дня, сказали, что предупредят, когда в знак протеста надо будет покинуть зал. Хрущев как бы не понял, о чем ему говорят. А после разъяснений удивился: «Покинуть зал, когда наших друзей поносит черт-те кто, да еще отказаться от права на обструкцию?» Не без юмора рассказал, как Бадаев, член большевистской фракции в Думе, специально учился у мальчишек свистеть — в Думе все большевики освистывали неугодных ораторов, да так, что их речи практически невозможно было услышать.

И вот председательствующий объявил о рассмотрении «венгерского вопроса». Советская делегация не покинула зал. Разнесся шепот удивления: «Советские не ушли». И тут началось. Хрущев непрерывно (но в соответствии с процедурными правилами и регламентом) вносил запросы, требовал разъяснений, уточнений, требовал, чтобы ораторы предъявили мандаты членов делегаций и прочее. Было уже не до «венгерского вопроса», становилось ясно, что на этот раз обсуждение проваливали иным, более «громким» способом. Все члены нашей делегации в соответствии с темпераментом колотили по откидным столикам перед креслами, их поддержали многие другие делегации. Как на грех, с руки Хрущева соскочили часы. Он начал искать их под столом, живот мешал ему, он чертыхался, и тут рука его наткнулась на ботинок...

Возвращаясь к этому эпизоду «ботиночной дипломатии», скажу о другом. Когда вслед за «венгерским вопросом» стал обсуждаться «алжирский», французы чинно покинули зал. Кто-то спросил, отчего уходят. Не без французской учтивости они ответили: «Идем в магазин покупать горнолыжные ботинки...»

В середине пятидесятых и мне, и моим товарищам по газете приходилось непрерывно ездить в командировки (те самые сто дней в году). В 1954-м «Комсомолке» удалось выпросить у издательства «Правда» автомашину для пробега по Украине в связи с трехсотлетием воссоединения ее с Россией. Возглавил нашу бригаду из трех человек очеркист Илья Котенко. У него было прекрасное качество: он не давил своим авторитетом, а исподволь учил профессиональным тонкостям в работе, и у соавторов не возникало неловкости, когда они ставили свои подписи рядом с подписью бригадира. Как ни настаивали на том, чтобы его фамилия шла первой, он предпочитал алфавитный порядок.

Илья Котенко руководствовался верным журналистским, а скорее чисто человеческим принципом: «Если тебе самому интересно то, что ты видишь, слышишь, узнаешь, — это может быть интересно и читателям, а если наигрываешь интерес — мучаешь читателя». Донской казак Котенко, любивший и хорошо знавший южные земли и южан — русских и украинцев, — оказался во время поездки в родной стихии. Смешивая украинскую «мову» с русским языком, он умел втянуть в разговор любого заинтересовавшего его человека — от мальца до старика, — что чрезвычайно важно для нашего дела. «Почем продаете мед?» — спрашивал Илья хозяина, сидевшего на лавочке перед хатой. Внимательно оглядев незнакомцев, тот отвечал: «Я не продаю». «А почем продают?» — допытывался Илья. «А бог его знает», — разводил руками хозяин. «Так, может, у вас и меда нет?» — И Котенко делал шаг к машине. «Отчего же нет, — обижался собеседник, — заходите, попробуйте». Мы знали, что и на этот раз обеспечены ночлег и нескончаемое продолжение беседы... «А почем вы продаете сало?» «А я его не продаю», — и так далее.

Я стал газетчиком не сразу. Вначале хотел быть — и почти стал — актером. Учился после войны в школе-студии Художественного театра. Курс мастерства актера вели в нашей группе Павел Владимирович Массальский и Иосиф Моисеевич Раевский, они открыли и вывели на сцену таких талантливых людей, как Олег Ефремов, Михаил Козаков, и многих других. У Олега Ефремова театр навсегда остался первым, самым главным, единственным делом жизни. Немногие знают, откуда у Олега Николаевича эта страстная любовь к театру, к сцене, где ее начало. Биографы знаменитого теперь режиссера отыскивают ее в ночных репетициях будущего театра «Современник», но это не совсем точно, она родилась раньше. Однажды, на первом курсе, когда мы играли бессловесные этюды (для драматического актера это такое же нудное занятие, как гаммы для пианиста), Олег оттащил меня в потаенный уголок, сунул в руку какую-то бумажку и сказал: «Читай и, если хочешь, подпиши»

Бумажка содержала клятву верности актерскому братству, верности профессии и ее высокому предназначению. Заметив, что я медлю, добавил: «Но только кровью», — и совершенно серьезно протянул мне лезвие бритвы.

А я актером не стал. Перешел в Московский университет, на филфак, а затем на отделение журналистики. Два начала. До сих пор в снах я иногда продолжаю доигрывать роль Шванди в спектакле «Любовь Яровая». Жаль, что в университете на нашем курсе не нашлось человека с маленькой бритвочкой и текстом профессиональной клятвы. Подпиши мы такую бумагу в начале пути — сам этот путь оказался бы прямее и строже. Говорю больше о себе. Не все напечатанное вспоминаю с охотой. Можно сыграть множество ролей, но в свой час — ту, первую, которая останется с тобой навсегда. Можно написать множество статей и очерков, пока поймешь, что наконец-то достиг профессионального уровня Разбуди меня сейчас ночью и спроси, что больше всего осталось в памяти, где, в чем, когда открылось это неуловимое «нашел», и я, вопреки возможным ожиданиям, назову не интервью с главами государств, не множество других событий в моей журналистской практике, а маленькую историю.

У подъезда редакции «Комсомольской правды», когда я шел на ночное дежурство, обратились ко мне два паренька, как оказалось, глухонемые. В редакционном скверике жестами, записками объяснились. Было при пареньках письмо, и я прочитал его тут же.

Завязка истории приведет нас к газете «Британский союзник», к ее послевоенным номерам. 5 марта 1946 года в Фултоне Черчилль произнес свою памятную речь. В присутствии президента США Трумэна он призвал западный мир «показать русским силу». Началась «холодная война». «Британский союзник» перестал выходить. Неизвестно, по каким причинам пустился он в одном из последних номеров в рассуждения о глухонемых. Перечислялись профессии, увлечения, недоступные глухонемым, — из-за этого они-де несчастны, обездолены. Этот номер газеты и попал случайно в руки пареньков.

Оба они только что окончили ремесленное училище и работали на одном из ростовских заводов слесарями. В Москву приехали искать поддержки. Реакция парней на статью в «Британском союзнике» была своеобразной. Решив доказать, что и глухонемые кое-что могут, они начали копаться на ростовских промышленных свалках, отыскивали там старые, отслужившие срок части простеньких самолетов, детали моторов (за войну такого накопилось немало). В «засекреченном» сарае, с помощью друзей, без чертежных досок, с самыми малыми подручными средствами, ночи напролет работали ребята и построили настоящую, похожую на «У-2» летательную машину. Наконец, выкатили свое детище на пустырь, уселись в пилотскую кабину, завели мотор, и струи ветра ударили в их лица, выбивая из глаз слезы. А может, не было у них слез? Просто, вспоминая ту давнюю встречу, ловлю себя на том, что, когда слушал их, слезы наворачивались на глаза.

Наступил их «первый час», час торжества. Они взлетели! Кружили над городом, над ростовскими пляжами. ныряли в холодные воздушные ямы, а теплые влажные облака вновь поднимали самолет ввысь. Тридцать минут длилось воздушное приключение. Эти тридцать минут были их

победой. Не верящие в бога, они оторвались от земли, но невозможно объяснить, как могли они сделать это без божественной поддержки. Согласитесь, что каждый, кто встречается с таким чудом, в глубине души на какие-то мгновения перестает быть атеистом.

Когда ростовские инженеры познакомились с самодеятельными расчетами ребят, больше всего их поразили удивительно точно найденный способ крепления шасси с фюзеляжем, углы сопряжения и запас прочности самолета. «Комсомолка» добилась, чтобы отважных летчиков поддержали в московском авиаклубе. Там им подарили настоящий современный планер. Ребята получили чертежи и инструкции сборки и возвратились в Ростов. «Британский союзник» был посрамлен. Но вот испытали ли чувства стыда те ростовские держиморды, которые «пресекли недозволенное» и сожгли собранный ребятами самолет, как только он сел на землю.

Мы бессильны с точностью объяснить множество поразительных проявлений человеческого духа, влекущих к себе, заражающих нас естественным стремлением испробовать и свои силы. Нельзя отнимать у человека потребность в возвышенных идеалах, если мы хотим, чтобы как можно больше наших сограждан походило на Стаханова в час, когда он рубал уголек на Федосеенко, Васенко, Усыскина, достигших рекордной высоты на стратостате «Осоавиахим-1» и не потерявших мужества в миг катастрофы. Надо, чтобы общество приветствовало дерзость, риск, азарт — черты, свойственные неординарной личности. Я не согласен с теми, кто в принципе не приемлет героику только потому, что в тот или иной период культивировалась ее надуманная разновидность.

Я часто спорю со своими сыновьями: им кажется, что мы отстали от жизни, закоснели в представлениях, потерявших значение в современном мире. Им смешно и грустно оттого, что мы шпыняем их по мелочам, уходя от главного. Им надоели нравоучительные сентенции о прическах, модах и прочей, как они говорят, муре.

Мы тоже проходили через такое. В начале эталоном были широкие брюки. Затем узкие. Декольте у девушек дозировались с еще большим тщанием. По приказам министров в служебные помещения не допускали женщин в брюках. Длина волос тоже контролировалась. Бороды воспринимали как вызов общественному мнению, и если их насильственно не состригали по примеру Петра, то все же они сильно портили репутацию. Ссылки на внешность Маркса, Энгельса, Ленина объявлялись кощунством. А дети наши не хотят, чтобы мы делили проблемы, вставшие перед обществом, на взрослые и молодежные, ибо они действительно неделимы. Они хотят разговаривать серьезно, не бояться задавать нам любые. самые острые вопросы, хотят получать ответы, а не раздраженное одергивание. Такой душевной близости надо радоваться. Она требует убежденности, сильных аргументов, а не надоевших расхожих штампов. Как поразительно умел говорить с молодежью Ленин! Он всегда был собеседником, а не поучающим метром. Отчего же мы придавали такое значение поимке на бульваре группы ребят, у коих нижняя часть одежды была на сантиметр у́же или шире установленной? Отчего (странное совпадение) всякий раз, когда перед обществом встают сложнейшие экономические, моральные, социальные проблемы, и молодые люди (в своем абсолютном большинстве) хотят серьезного обсуждения «задач дня» и будущего, кто-то переводит острие дискуссии на мини- или макси-юбки?

Совсем не хочу, чтобы меня посчитали защитником «металлистов», «рокеров» и других любителей заемной моды. И не всегда с Запада идет к нам эстрадная безвкусица.

Во время давнего визита в Мексику я был принят Президентом страны Лопесом Матеосом. Сказал ему, с каким интересом слушал замечательных уличных музыкантов — «марьячес». Президент заметил, что Мексика очень бережет свои национальные культурные традиции, хоть делать это непросто из-за музыкальной экспансии близлежащей страны. За те несколько дней, что я провел в Мехико, удалось увидеть великолепные национальные массовые спектакли: народные танцы, скачки, парады костюмов. Они шли на площадях, стадионах — повсюду, завораживая весь город, всех. Их организация требует высокого вкуса режиссеров и постановщиков, да и немалых средств. Я как-то спросил Игоря Алек-

сандровича Моисеева: неужели мы не способны создать бытовой танец, который понравится нашей молодежи, а может быть, завоюет весь мир? Он ответил: «Способны, но знаете ли вы, сколько это стоит?»

Вспоминаю и другой разговор — с Леонидом Осиповичем Утесовым. Он считал, что миграция стилей в эстрадной музыке возможна и полезна, это тоже форма мирового обмена культурными ценностями. Показал вырезки из старых, тридцатых годов, газет, в которых шла острая дискуссия о джазовой музыке, добавив не без иронии, что «Известия» выступили против джаза — «музыки толстых», а «Правда» — за энергичные ритмы...

В «Известиях» начала шестидесятых годов мы «спасли» джаз Олега Лундстрема. Пригласили музыкантов в небольшой редакционный зал, и там они ударили во все свои барабаны и затрубили во все трубы. Окна были открыты, веселая музыка собрала на сквере у памятника Пушкину толпу. Послышалось «браво!», «еще!», и седовласый красавец Лундстрем сиял от счастья. «Все знающая Москва» (есть такая категория) загудела: «зять» решился пойти против «тестя».

Хрущев не то чтобы не любил джаз, но как-то высказал Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу свое неудовольствие по поводу джазовой атаки на слушателей во время одного из итоговых концертов художественной самодеятельности. Шостакович был председателем жюри и пригласил Хрущева в только что открывшийся Кремлевский театр (теперь в этом переоборудованном зале проходят заседания Совета Национальностей Верховного Совета СССР). Концерт начался парадом-алле сразу пяти джазовых оркестров, гремевших так, что едва выдерживали барабанные перепонки. Хрущев досидел до конца, а затем в сердцах сказал Шостаковичу, что не ожидал от него такой безвкусицы. Шостакович не знал не только о том, что, как всякий старомодный человек, Никита Сергеевич не очень-то большой поклонник джазовых рапсодий, но и о том, что такое начало концерта могло показаться ему своего рода вызовом. Желание немедленно обратить недоразумение в поучительное предупреждение привело к тому, что джазы были изъяты из музыкальной жизни.

И вот после этого в стенах «Известий» звучит джаз. Это отнюдь не было каким-то вызовом: я знал, что Хрущев вовсе не требовал запрещений. Просто он считал, что пять джазов одновременно — это слишком...

Время доказало, что нелепо настаивать на возвращении к старомодной стрижке, как нелепо призывать равняться на дутых ударников и ударниц коммунистического труда, если на них работала целая рать администраторов (такая публика сейчас особенно боится газетчиков).

Пришлось мне не так давно принять участие в передаче «12-й этаж». «Лестница» располагалась не в студии, а у входа в Боткинскую больницу. Шел мелкий холодный дождь, но и ребята, и главный врач этой больницы, и ведущая Олеся Фокина продолжали задавать вопросы тем взрослым товарищам, которые находились в тепле, в Останкине. Речь шла о трудовом воспитании подростков, об их отношении к посильной трудовой деятельности, к заработку. Удивительно единодушны и требовательны были мальчики и девочки четырнадцати-пятнадцати лет. Они хотели работать. Разносить почту, ухаживать за больными, развозить по домам белье из прачечных в дни каникул и в свободные часы. Говорили, что хотят иметь свои деньги, а не цыганить их у родителей.

Главный врач поддерживал ребят и девочек, готовых работать по нескольку часов в неделю нянечками, санитарами. «Нельзя», — тут же парировал представитель Министерства здравоохранения. «Поднятие тяжестей детям при перевертывании и переносе больных (это его выражение. — А. А.) запрещено инструкцией». «Лестница», услышав это, засмеялась. Мальчики и девочки превосходили внушительными фигурами многих взрослых. Когда у этого товарища спросили, а как относится Министерство здравоохранения к тому, что ежегодно десятки тысяч школьников месяцами собирают хлопок на залитых дефолиантами полях, он промолчал.

Иногда мы полагаем, что наша молодежь ничего не видит, не слышит и не понимает. Зря мы так полагаем.

(Окончание следует.)